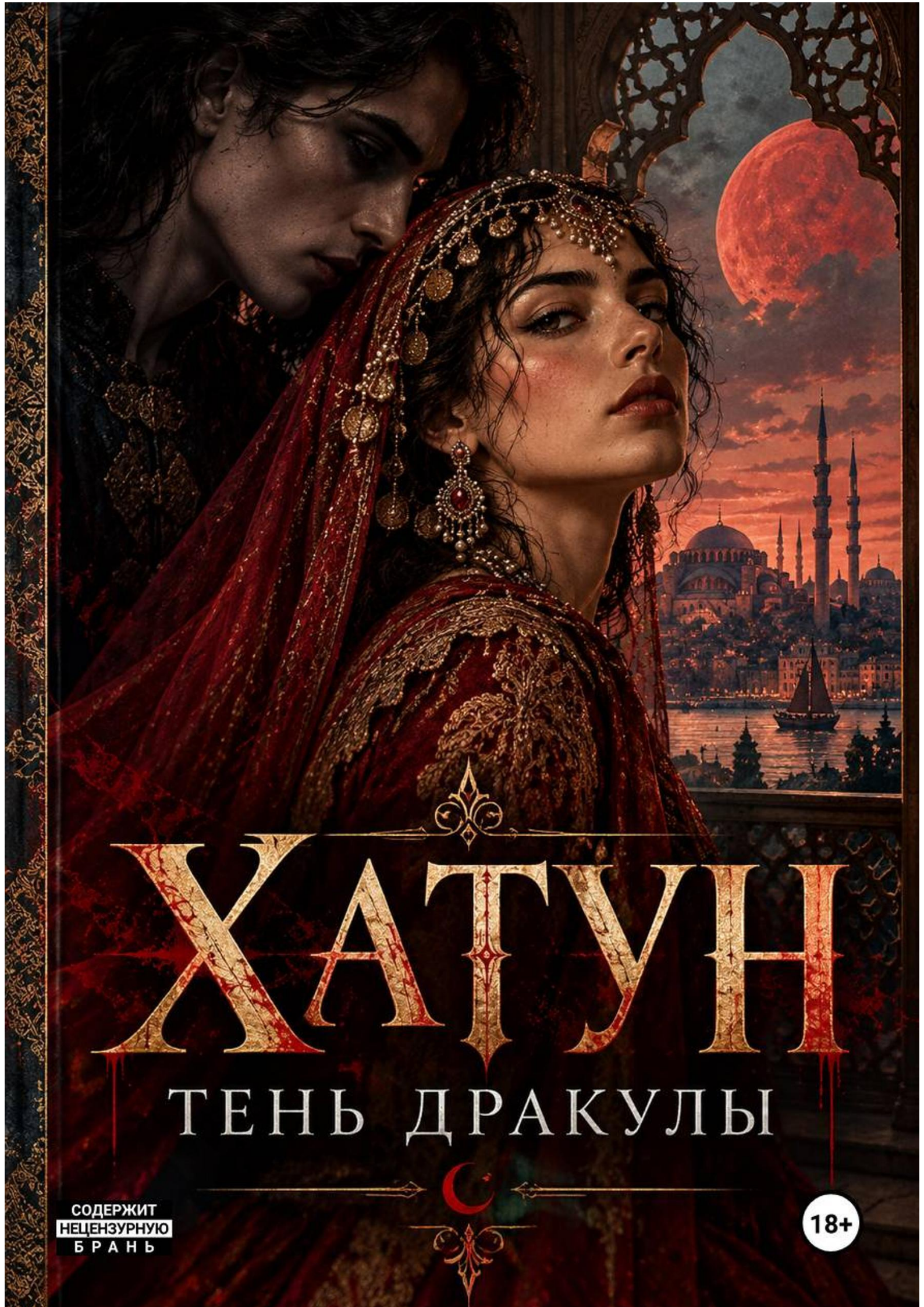
ХАТУН
ТЕНЬ ДРАКУЛЫ
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Ольга Гоуст

Хатун. Тень Дракулы

«Автор»
2026

Гоуст О.

Хатун. Тень Дракулы / О. Гоуст — «Автор», 2026

Мне было восемнадцать. Мой брат Мехмед два года как взял Константинополь, а я узнала, что умею ходить по чужим снам.Валашских княжичей при дворе брата было двое. Младший, Раду, писал мне стихи и считал мой дар болезнью, от которой меня надо вылечить. Старший, Влад, приходил ко мне во сны и не скрывал зачем.Я выбирала каждого из троих по очереди и каждого предала. Из тюрьмы моего брата Влад вышел уже не человеком. Я помогла ему сбежать. Через шесть лет он посадил моего мужа на кол. Самый высокий кол из всех.

© Гоуст О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие 6
Что было на самом деле 6
Что придумано 7
Словарь 8
Глава 1. Вода под полом 11
Глава 2 15
Глава 3 20
Глава 4 24
Глава 5 28
Глава 6 32
Глава 7 36
Глава 8 40
Старый дворец. Май 1455 41
Глава 9 45
Глава 10 49
Глава 11 53
Глава 12 57
Глава 13 61
Глава 14 65
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Ольга Гоуст
Хатун. Тень Дракулы

Предисловие

Что было на самом деле

Отца Влада и Раду тоже звали Влад, и он был князем Валахии, маленькой христианской страны за Дунаем. В 1431 году император Сигизмунд принял его в орден Дракона, рыцарское братство, которое собирали против турок. С тех пор его звали Дракулом, Драконом, а сына — Дракулой, «сыном Дракона». Так сын потом и подписывал свои грамоты. В те времена это слово значило и «дракон», и «дьявол», и со временем второе значение победило.

Валахия лежала между Венгрией и Османской державой, и её князьям приходилось кланяться то одной стороне, то другой. В 1442 году султан Мурад II вызвал Влада-отца к себе, а домой отпустил без двух младших сыновей: они остались у султана в залог. Владу было лет двенадцать, Раду был ещё совсем малышом. Сначала их держали в Эгригёзе, крепости в глухом углу Анатолии, потом, скорее всего, при дворе.

Заложник у османов не сидел в цепях: пока отец послушен, сыновья сыты и целы. Отец послушен не был. В 1444 году он отправил старшего сына Мирчу с четырьмя тысячами воинов в крестовый поход против султана, и под Варной крестоносцев разгромили. Мальчиков не тронули: Мураду выгоднее было держать их здоровыми и торговаться.

В те же годы подрастал наследник Мурада, Мехмед. Ему было двенадцать, когда отец посадил его править в Эдирне под присмотром визиря Халила. Встречались ли мальчики, источники не говорят. Я решила, что встречались.

В конце 1447 года венгерский полководец Янош Хуньяди пошёл войной на Валахию. Влада-отца схватили и убили, а Мирчу бояре столицы, Тырговиште, закопали живым. Осенью 1448 года турки посадили на престол Влада-младшего, ему было около восемнадцати. Продержался он месяца два: в ноябре его выгнал соперник, которого поддерживали венгры.

Влад вернулся к туркам, оттуда по неизвестной причине уехал в Молдову к дяде, а из Молдовы в Трансильванию. О восьми годах, от конца 1448-го до 1456-го, историки знают всего несколько строк. В эти восемь лет и поместился мой роман.

Весной 1456 года Влад уже у Хуньяди, а к осени он снова князь Валахии. Это его второе и самое известное правление: шесть лет казней на кольях, за которые его потом и назовут Цепешем, то есть Колосажателем. Летом 1462 года султан Мехмед, тот самый, что взял Константинополь, сам повёл войско на Валахию. Разбить такую армию в поле Влад не мог и однажды ночью ударил прямо по турецкому лагерю, с факелами и рогами. До султанского шатра он не добрался и вышел к шатрам визирей. Под Тырговиште турки потом нашли поле кольев с тысячами казнённых.

Гоняться за Владом султан не стал. Он привёз с собой замену — Раду. Бояре один за другим переходили к младшему брату, и Валахия досталась ему. Влад бежал в Венгрию, но король Матьяш Корвин вместо помощи взял его под стражу и много лет продержал в крепости Вишеград. Русское «Сказание о Дракуле-воеводе» рассказывает, что в темнице он ловил мышей и покупал на рынке птиц, чтобы сажать их на колышки.

Раду правил Валахией с перерывами до 1474 года, потерял престол и около 1475 года умер. Влада выпустили из плена, и в ноябре 1476 года, через четырнадцать лет после бегства, он в третий раз стал князем. Через месяц с небольшим он погиб в бою с турками. Ему было лет сорок пять.

Что придумано

Фатьма с её даром, её мать, её брак и её тайны придуманы. Придуманы и старый Каллист в чёрной воде, Анна и все служанки Старого дворца. А вот Хамза-бей, султанский сокольничий, жил на самом деле, и Влад действительно посадил его на кол. Женой Хамзы Фатьма стала только в этой книге.

Многое вокруг Фатьмы тоже взято из истории. Когда Мехмед в 1451 году взошёл на престол, его младенца-брата Ахмеда утопили в бане, а вдову Мурада выдали за Исхак-пашу и увезли в Анатолию. Это правда. Что в тот день делала дочь Мурада, я сочинила. Исхак-паша, муж вдовы, и Исхак-паша, визирь в походе 1462 года, у меня один человек. Может быть, так и было, а может быть, это два тёзки.

Самое большое допущение — сам Влад в Стамбуле. Настоящий Влад после 1448 года, судя по всему, недолго пробыл у турок и уехал. Я оставила его при дворе Мехмеда до весны 1456-го, заложником про запас, и отпустила как раз тогда, когда он снова появляется в истории, у Хуньяди в Трансильвании.

Раду в романе старше, чем был. Он родился между 1437 и 1439 годами, и весной 1455-го ему было не больше семнадцати. У меня ему девятнадцать или двадцать. Историки пишут, что красота сделала Раду одним из любимых пажей султана. Что было между ними на самом деле, не знает никто.

С городом я тоже обошлась вольно. Новый дворец на мысу Первого холма, тот, что потом назовут Топкапы, Мехмед начал строить в 1459 году, а в романе стройка идёт уже в 1455-м. Тюрьмы под этим дворцом, соединённой с подземными водохранилищами, не было, как не было и замурованного крыла Старого дворца над водой. Зато Базиликовая цистерна, подземное озеро с лесом колонн, по которому Влад возит Фатьму в лодке, настоящая. После завоевания о ней правда забыли. Люди жили прямо над ней, опускали вёдра в дыры в полу подвалов и ловили оттуда рыбу. Заново цистерну открыл француз Пьер Жиль в 1546 году: он плавал по ней на лодке с факелами. Сейчас туда водят туристов.

Многие подробности дворцовой жизни я взяла из описаний XVI века, времён Сулеймана Великолепного: как устроены гарем и бани, что носят и что едят, кто как зовётся при дворе, как женщины смотрят праздник на Ипподроме из-за решётки. При Мехмеде, сразу после завоевания, многое только складывалось, но обычаи менялись медленно, а Стамбул Сулеймана описан куда подробнее. Поэтому в этой книге XV и XVI века — одно время.

Луна и Древо выросли из настоящей легенды. Осману, основателю династии, приснилось, что из груди шейха Эдебали вышла луна и вошла в его грудь, а из его тела выросло дерево и накрыло весь мир. Шейх истолковал сон как добрый знак и отдал Осману в жёны свою дочь. Я прочла легенду буквально: что, если луна и правда пришла через женщину и с тех пор живёт в женщинах этого рода? Хождение по снам, кровь как ключ, обряд и вампирская природа Влада — вымысел. Вампиром Дракулу сделал ирландец Брэм Стокер в 1897 году, через четыреста с лишним лет после смерти настоящего Влада. Но и живым Влад пугал Европу: немецкие книжки о его жестокостях печатали ещё при нём, с 1463 года, а вскоре после его смерти на Руси уже переписывали «Сказание о Дракуле-воеводе». А каким вампиром он стал у меня, подсказали старые поверья о мертвецах, которые не лежат в могиле спокойно.

Если захочется прочитать о настоящих людях и настоящем городе, вот книги, на которые я опиралась: «Сказание о Дракуле-воеводе», «Османская империя» Джона Патрика Бальфура, «Константинополь. 1453–1924» Филипа Мансела и «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного» Робера Мантрана.

Словарь

ага— у османов начальник: командир войска или стражи, старший над слугами во дворце.

айран— кислое молоко, разбавленное водой, с солью: простое прохладное питьё турок.

Айя-София— «Святая Премудрость» (греч.), главный храм Константинополя. В день взятия города Мехмед въехал в неё и сделал её мечетью.

арба— высокая двухколёсная телега, в которую запрягают волов или лошадь.

Астагфируллах— «прошу прощения у Аллаха» (араб.). Так говорят, когда спохватились, что сделали не то или пропустили положенное.

аят аль-Курси— «аят о Престоле», 255-й аят второй суры Корана. Его читают на ночь для защиты: верят, что читающего до утра хранит страж от Аллаха.

баклава— сладкий пирог из тонких слоёв теста с орехами, пропитанный мёдом.

бей— у османов титул военачальника или правителя области. Ставится после имени и говорит о знатности.

бисмиллях— «во имя Аллаха» (араб.). Так говорят, начиная любое дело, и так приговаривают над ребёнком, когда укладывают его спать или чем-то поят.

Валахия— христианское княжество за Дунаем, между рекой и Карпатами. Правил им воевода.

визирь— у османов высший сановник, член совета при султане. Первый из визирей, великий визирь, ведёт дела всего государства.

гяур— у мусульман иноверец, чаще всего христианин; слово пренебрежительное.

Дайе— «кормилица» (перс., отсюда и в турецком). Так почтительно зовут кормилицу султана.

джинн— в мусульманских поверьях бесплотное существо из огня, невидимое людям. Джинны могут вредить и селятся в пустых и тёмных местах.

джирид— тупое деревянное метательное копьё и конная игра с ним: всадники двух сторон мечут копья с седла друг в друга. Любимое состязание османов.

Дильруба— «похищающая сердце» (перс.). Имя, которое дают девушке в гареме.

долма— голубцы из виноградных листьев с начинкой из риса, бывает и с мясом.

Дракула— «сын Дракона». Так прозвали Влада по отцу: того звали Дракулом, «Драконом», потому что он состоял в рыцарском ордене Дракона.

евнух— оскоплённый слуга. Евнухи сторожат женскую половину дворца и прислуживают на ней.

Ипподром— огромная площадь для конских состязаний и празднеств в середине Константинополя, оставшаяся от византийских императоров.

Искандер— так на Востоке зовут Александра Македонского, древнего царя, который дошёл с войском до Индии.

Кадир— ночь Кадир, «Ночь Предопределения» (араб.): двадцать седьмая ночь поста в месяц Рамадан. Верят, что в эту ночь Аллах решает судьбу каждого на год вперёд, и молятся до рассвета.

калфа— старшая служанка в гареме, которая надзирает над младшими.

кумган— металлический кувшин с узким горлом, длинным носиком, ручкой и крышкой. Из него поливают воду на руки и лицо, когда омываются перед молитвой.

Курбан— Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. В этот день в каждой семье режут барана, мясо раздают бедным.

ля иляха иллялах— «нет бога, кроме Аллаха» (араб.), начало шахады, свидетельства мусульманской веры. Её читают над умирающим, а в быту произносят в испуге и при вести о смерти.

Мах— «луна» (перс.). В персидской поэзии луной называют красавицу.

минарет— высокая узкая башня при мечети. С её балкона муэдзин созывает людей на молитву.

мулла— у мусульман духовное лицо, знаток Корана и обрядов.

муфтий— мусульманский законовед: знаток закона веры, который решает, что дозволено, а что нет.

муэдзин— служитель мечети, который нараспев созывает людей на молитву пять раз в день.

омега— последняя буква греческой азбуки, ω.

Осман— сын Эртогрула, родоначальник османской династии: по его имени её государи и подданные зовутся османами.

палин— «опять, снова» (греч.).

Панагия— «Всесвятая» (греч.). Так греки называют Богородицу.

паша— высший османский титул сановника: визиря, наместника области. Ставится после имени.

сура— глава Корана. Суры складываются из стихов — аятов.

сурьма— чёрная краска, которой подводят веки и брови.

тора— «сейчас» (греч.).

Фатиха— «Открывающая» (араб.), первая сура Корана: короткая молитва из семи аятов. Её читают в каждой ежедневной молитве и над умершими, на неё уходит меньше минуты.

хаким— врач. Арабское слово, значит «мудрец, знающий».

хатун— «госпожа»: почтительное слово при имени знатной женщины.

хна— рыжая краска из толчёных листьев кустарника. Ею красят волосы, ладони и ступни, а невесте перед свадьбой, в «ночь хны», натирают хной ладони и пальцы.

Хыдырэллез— весенний праздник цветов и зелени в начале мая, день Хызыра и Ильяса. Горожане уходят за стены на траву, женщины проводят день в садах с цветами в волосах.

шайтан— у мусульман дьявол; так зовут и любого злого духа.

шейх— у мусульман почитаемый старец, наставник в вере; так зовут и главу дервишской обители.

шербет— сладкое питьё из фруктового сока или сиропа. Его охлаждали привозным льдом.

Эгригёз— османская крепость в глухом краю Анатолии, то есть Малой Азии, далеко от Валахии.

Эдебали— шейх и судья в деревне по соседству с Османом, позже его тесть и советник.

Эдирне— город во Фракии, по-гречески Адрианополь. До взятия Константинополя здесь стоял двор султанов.

Эйюб— Абу Айюб аль-Ансари, сподвижник пророка Мухаммеда. Погиб под стенами Константинополя при первой осаде города арабами, и его гробница за городской стеной стала одной из самых почитаемых святынь ислама.

ятсы— ночная молитва, последняя из пяти за день: её читают через час-два после заката, когда совсем стемнеет.Пролог

ПРОЛОГ Старый дворец. Июнь 1462

Сегодня ночью ты мне снился, Влад. Во сне я смотрела твоими глазами и держала твоими пальцами рукоять меча, обмотанную ремнём, сырым от росы. Ты вёл своих людей на лагерь моего брата, султана Мехмеда. Брат стоял с войском за Дунаем, в Валахии, на твоей земле.

Вышли вы, когда кончалась первая стража ночи. Шаг у тебя был длиннее моего, и всю дорогу я не поспевала за твоими ногами. Темно было так, что землю я узнавала по шагу: сначала мокрая трава, потом трава, вытоптанная до глины, в которой вязли сапоги, потом нога поехала, и понесло свежим конским навозом. Лагерь брата пах остывшими кострами и скотиной и спал. Справа и слева шли твои люди, плечо к плечу, без зазора. Чужое плечо на каждом шаге толкало твоё, а значит, и моё. Впереди, там, куда нам было бить, подняли факелы, протрубил рог, и весь строй, не размыкаясь, повернул на его голос и пошёл быстрее. Лагерь проснулся криком. Верблюд с распоротым боком опустился перед тобой на колени, вытянул шею по земле, и ты через неё перешагнул. Ты шёл к шатрам моего брата, чтобы его убить. Полотно разошлось под клинком сверху донизу. Из жёлтого света выскочили босые бородатые люди в нижних рубахах, один закрывал голову локтями. Мехмеда среди них не было. Что было дальше, я не знаю: тут я проснулась.

Над верхней губой у меня мокро. Что это, я знаю раньше, чем подношу пальцы: кровь идёт носом, тонко, без боли. После таких снов она у меня идёт всегда. На наволочке три пятна меньше ногтя, одно смазано — это я повернулась щекой, ещё не проснувшись. Я сажусь, запрокидываю голову и прижимаю к лицу край простыни. Кровь уходит в горло, я сглатываю её и жду, пока перестанет. Я ещё чую навоз и сырое полотно шатра, хотя здесь, в Стамбуле, в моей комнате, пахнет лампой и моими волосами. Наволочку утром унесут вместе с простынёй, и никто ни о чём не спросит. Окно открыто, ночь тёплая, до света далеко.

Там, за Дунаем, сейчас та же ночь, и бой ещё идёт. Чем он кончится и жив ли мой брат, не знает никто. Гонец оттуда ещё не выехал. Он сядет на коня, когда там сосчитают убитых, переправится через Дунай, будет загонять коней и брать свежих и через много дней въедет в Стамбул. Тогда мне расскажут, что было этой ночью в лагере. Половину я уже видела сама, раньше гонца и раньше всех в городе. Другую половину не досмотрела. Я загибаю пальцы, считаю, сколько дней ему скакать до Стамбула, сбиваюсь и начинаю снова. Спать я больше не ложусь.

Хамза-бей был моим мужем. Ты посадил его на кол, выше всех остальных, и в двадцать пять лет я вдова. Шесть лет я тебя не видела, Влад. Сегодня тоже не видела, потому что во сне смотрела твоими глазами. Говорят, за эти шесть лет ты совсем не постарел.

Началось всё семь лет назад, весной 1455 года, в этом же дворце. Мне было восемнадцать. Хамза-бей ещё не был мне мужем. Тебя я не знала даже по имени. Как-то утром из моих сундуков вынимали бельё и каждую штуку смотрели на свет.

Глава 1. Вода под полом

Старый дворец. Март 1455

В то утро Дайе, как всегда, лежала поперёк моего порога, снаружи, под навесом галереи, укрытая с головой, и выйти, не перешагнув через неё, было нельзя. Дайе была кормилицей брата, султана Мехмеда, и старшей над всеми женщинами в этом дворце. У моей двери она спала с тех пор, как мне исполнилось семь, а в ту весну мне было уже восемнадцать. Меня берегли для мужа и для чести брата: сестре султана до свадьбы не полагалось показываться чужим мужчинам. Я ещё стояла в дверях и решала, перешагивать или нет, когда она откинула покрывало и села. Заспанной я её не видела ни разу:глаза у неё сразу были ясные, будто она всю ночь пролежала без сна и слушала мою дверь.

— Сундуки, — сказала Дайе.

Ночью опять лило. В сундуках, по её словам, завелась сырость: мой павильон стоял стена к стене со старым крылом, под полом который день ходила вода, и всё, что лежало у той стены, взялось затхлым духом. В сундуках было моё приданое. Его собирали, сколько я себя помнила, понемногу, по одной вещи, а все шесть разом до того дня не открывали ни разу. Служанки вынесли их на галерею, к проёму, где было светло и куда не захлёстывал дождь. В дальний конец, где дверь в старое крыло давно заложили камнем, их не понесли: кладка там отсырела и потемнела. Одна служанка поднимала вещь к свету, другая смотрела на просвет: нет ли дыр от моли, не протёрлось ли на сгибах, не пошла ли по шву зелень. Простыни, наволочки, полотенца с вышитыми концами, рубашки. Одну рубашку я не помнила совсем. Кисея была такая тонкая, что сквозь неё проступали пальцы служанки, а за пальцами мокрый двор. Такую шьют на первую ночь с мужем. Мужа мне до свадьбы не покажут, меня ему тоже, и впервые он увидит меня в ней. Я протянула руку потрогать край. Служанка посмотрела не на меня, а на Дайе, и рубашку мне не дала.

Ночные рубашки Дайе смотрела сама. Разворачивала по одной, подносила к проёму, вела глазами по подолу, по рукавам, по вороту, потом выворачивала и смотрела изнутри, дольше, чем смотрят на моль. Складывала и брала следующую. Что она там искала, я не знала. Так она всю жизнь смотрела на всё моё: на ногти, на шитьё, на служанок.

— Это брат велел их перебрать? — спросила я.

— Нитку сушат, пока не сопрела. Эту к свету. Выше.

— Мехмед что-нибудь писал?

— Хлеб считают, когда вынут из печи. Полотенца отдельно.

Так Дайе отвечала всегда, когда отвечать не хотела: присловьем, а следом приказом служанкам. На этом разговор кончался. Но про хлеб я поняла. Хлеб считают, когда он готов, а пока он в печи, о нём молчат. Выходило, что брат уже решил, за кого меня отдать, только объявлять было рано. Знала ли Дайе, за кого, по её лицу было не понять. Спроси я в третий раз, я услышала бы третье присловье.

После полудня Дайе осталась на галерее, а Анна мыла мне голову в комнате. Анна была из моих служанок, гречанка. Жаровню придвинули к тазу, ставни прикрыли, и всё равно из-под двери тянуло холодом по щиколоткам.

— Госпожа хорошо спала? — спросила Анна, засучивая рукава.

— Хорошо.

Она лила мне на затылок из кувшина воду горячее, чем надо, и я ей этого не сказала. Мыло пахло лавром; Анна растирала его ото лба к макушке сильными пальцами, не жалея

кожи. Мокрые волосы тянули голову вниз, к тазу, держать её приходилось одной шеей, и шея ныла, и мне это нравилось. Пар поднимался от таза и оседал у меня на ресницах. Когда Дайе на галерее заговорила с кем-то в голос, Анна наклонилась к самому моему уху. С её локтей капало в таз.

— На кухне говорят. Евнухи сказали повару, а повар нам. Вас отдадут замуж за Хамзу-бея, который у султана соколами ведает. Немолодой, госпожа.

Я спросила, сколько у него соколов. Анна не знала. Тогда я спросила, сам ли он их кормит, и этого она тоже не знала. Про него самого Анна больше ничего не слышала. А по птицам видно, какой хозяин. В Эдирне я однажды видела, как сокольник нёс птицу через двор на кулаке: глаза ей закрыли колпачком, и она сидела смирно и поворачивала голову на каждый звук, на хлопнувшую дверь, на мой смех. Я закрыла глаза, как та птица, и велела лить ещё.

Потом Анна чесала мне волосы у жаровни, прядь за прядью, от концов к корням, пока они не начали подсыхать. Девушки, рассказывала она, которую ночь не спят: под старым крылом ходит вода, а турчанки говорят, что это джинны. Я эту воду тоже слышала, каждую ночь, пока не засыпала.

— А ты что говоришь?

— Я говорю, это одна Панагия знает, Матерь Божья. — Гребень застрял, она вынула его и снова повела от концов. — Под городом дворцы есть, госпожа. Под землёй. Колонны стоят, много, как в лесу деревья, и вода между ними чёрная. Бабушка говорила. Когда турки брали город, люди туда спускались, с лампами, с хлебом, сидели в темноте и ждали.

— И вышли?

— Кто вышел, а кто нет.

— А с теми, кто не вышел, что?

— Не знаю, госпожа.

— Знаешь.

Гребень остановился у меня на затылке и долго не шёл дальше. Тут я вспомнила: своих Анна потеряла два года назад, в тот самый день, когда турки взяли город. Её увели одну, без них, и с тех пор она ничего о них не слышала.

— Я спрошу брата про твоих, — сказала я. — У него записано, кого куда увели.

Имён я не спросила.

— Спасибо, госпожа, — сказала Анна и, не спросив когда, повела гребень дальше. — А у тех, внизу, масло в лампах кончилось. В темноте лестницу не найти, а колонн много, все одинаковые. Так там и умерли. И до сих пор стоят.

— Стоят? Не лежат?

Анна перекрестилась мелко, быстро, рукой с гребнем, думая, что я не вижу. Я видела её в медном боку кувшина.

— Стоят. Так говорят. Вода по грудь, держит, упасть не даёт.

К вечеру бельё сложили обратно, кисейную рубашку на самое дно, и сундуки поставили на прежнее место, к той же стене. Стемнело рано. Дайе сама расстелила тюфяк поперёк порога, села на нём лицом к двору и прочла аят аль-Курси, вполголоса и скоро, как читают то, что знают с детства. Этот аят читают на ночь, чтобы не подступили джинны. Я узнала его с первых слов и шевелила губами следом, пока Анна заплетала мне на ночь косу. Дочитав, Дайе позвала из-за двери Анну тем именем, которое ей дали во дворце:

— Дильруба.

Анна сразу завязала косу, пожелала мне доброй ночи и ушла к служанкам, переступив через край тюфяка, как переступала каждый вечер. Я задула лампу и легла. За дверью Дайе ворочалась, устраиваясь, потом затихла, а под полом шла вода, ровно, так же, как шла все эти ночи, и я лежала на спине и слушала её.

* * *

Сон не шёл. Дайе спала за дверью, на своём тюфяке поперёк порога, и я считала, сколько раз она вздохнёт. Сбилась на тридцати с чем-то и бросила.

Потом вода под полом пошла по-другому. Сначала зашумела громче, будто где-то подняли заслонку. Потом стала ближе, под самой постелью. Шла она теперь не ровно, как все эти ночи: набегала, откатывала и снова набегала. Я села. Снизу, сквозь доски, тянуло холодом. Один раз там, под полом, что-то тяжело перевалилось с боку на бок, как ворох мокрого белья в чане, когда прачка ворочает его палкой.

Я ждала, что закричат служанки. Они которую ночь не спали из-за этой воды, и теперь, думала я, выскочат во двор с визгом и станут звать Аллаха. Никто не закричал. Дайе за дверью даже не шевельнулась.

Тогда я решила пойти и узнать сама. Анна говорила, что вода ходит под старым крылом, а дверь в него была тут же, в конце нашей галереи, заложенная камнем. Приложу ухо к кладке и послушаю, что там шумит. Утром служанки будут шептаться у колодца, турчанки опять скажут про джиннов, Анна опять тайком перекрестится. А я буду знать, что там на самом деле. Одна я. Мне так этого хотелось, что горели ладони.

Выйти можно было только через Дайе. Перешагну через край тюфяка, как Анна вечером, подумала я. Дайе весь день провозилась с сундуками, её даже вода не разбудила. А проснётся — скажу, что испугалась воды.

Как я встала с постели, открыла дверь и перешагнула через Дайе, я не помню. Только что я сидела и прикидывала, как буду выбираться, а следующее, что помню, — я уже снаружи. Под ногами мокрые доски галереи, дверь у меня за спиной закрыта, у ног спит Дайе, укрытая с головой. Я постояла, попробовала вспомнить и не смогла. Стоять над Дайе было нельзя: проснётся.

Лампа осталась в комнате. Возвращаться за ней значило перешагивать через Дайе ещё раз, и я пошла в темноте.

Навес над галереей почти не спасал: дождь заносило сбоку, он бил мне в правое плечо и в бедро. На мне была полотняная ночная рубашка, одна из тех, что Дайе днём смотрела на свет. Она намокла сразу и облепила мне грудь и живот так, что я была в ней всё равно что голая. Коса тоже намокла и тянула голову назад.

Доски были холодные и скользкие. Я шла и вела рукой по стене. Сначала по своей, гладкой, побелённой. Потом пошла шершавая, пальцы цеплялись за швы между камнями: тут начиналось старое крыло. Двор шумел справа, пахло раскисшей землёй и мокрой золой откуда-то от кухонь. Днём за мокрый подол Дайе погнала бы меня переодеваться и сказала бы, кто будет за мной ходить, когда я сляжу. Сейчас подол лип к коленям, а видеть было некому. Меня трясло от холода, а мне было весело: ни разу в жизни мне не давали так замёрзнуть.

Чем ближе к концу галереи, тем сильнее тянуло холодом по ногам. Днём из-под моей двери тянуло так же, только слабее.

Галерея кончалась той самой заложенной дверью. У неё я наступила на камень. Он качнулся под ступнёй. Рядом нашёлся второй, а между ними на досках хрустела сухая острая крошка от раствора. Я присела и стала шарить руками. Днём тут было чисто. Теперь на досках неровной грудой лежали камни, будто кладку выдавило наружу, на галерею.

Я потянулась к кладке. На высоте колена рука ушла в пустоту: в кладке была дыра. Я ощупала края: камни торчали неровно, раствор на изломе сыпался под пальцами. Трогала я осторожно, чтобы не ободрать ладонь. Дыра была такая, что пролезть в неё можно было только на четвереньках.

Из дыры тянуло холодом, мокрым камнем и чем-то ещё. Я сунулась туда лицом и долго нюхала, как собака, но так и не поняла, чем пахнет.

Там, за стеной, глубоко внизу, шла вода. Та самая, которую я слышала из постели, только здесь каждый плеск о камень был слышен отдельно, и после каждого долго гудело, как в бане под куполом. Места внизу было много, куда больше, чем в моей комнате.

Я стояла на коленях. Ступни у меня были в чём-то скользком. Я потёрла одну о другую. Ил, холодный, жирный, он лез между пальцами. Натекло со двора, подумала я, двор совсем раскис.

Мне было так страшно, что свело живот и пальцы на ногах сами поджались в иле. Умнее всего было встать и тихо вернуться к Дайе. Я не встала.

Я навалилась на кладку и сунула руку в дыру по самое плечо. За стеной была пустота, холодная и мокрая, пальцы до воды не доставали. Близко, почти под самой рукой, в воде тяжело повернулось что-то большое.

Глава 2

Пролом был узкий, лезть пришлось на четвереньках. Кладка цепляла рубашку на спине, за ворот сыпалась крошка. Стена оказалась толстая, в два моих локтя, а за ней под ладонями сразу стало пусто.

Я легла на живот, свесила руку вниз и опять ничего не нашла, один холод. Тогда я стала шарить вбок, вдоль стены. На шаг левее пролома рука наткнулась на камни. Они лежали горой, верхом почти вровень с дырой: битый кирпич, комья раствора, что-то плоское и широкое, вроде плиты от пола.

Я перебралась на эту гору боком и поползла вниз задом, на руках и ягодицах, будто мне пять лет. Камни были мокрые, острый край одного упёрся мне в колено. Каждый я сначала трогала ладонью и ждала, что он поедет вместе со мной. Ноги находили опору легче, чем я думала.

Я была на середине, когда на той стороне загорелся свет.

Факел. Его вынесли из низкой дыры со сводом в стене напротив, и там он встал. Огонь чадил. В воде под ним горел второй такой же, вверх дном, и дрожал.

Я застыла как была, задом вниз, одна рука за спиной. Факел мог держать только мужчина: женщине тут ночью делать нечего. Мне тоже. Сестру султана в одной мокрой рубашке не видит никто. Если этот увидит, меня опозорят, а он не доживёт до вечера. Это мне с детства твердили все, от Дайе до евнухов.

А смотреть мне хотелось. Кто он и что ему тут надо посреди ночи? За огнём человека видно не было, только свет, и это меня злило: всю жизнь я видела чужих мужчин через решётку, а этого не видела даже так.

Зато при этом свете я увидела, куда залезла. Места было много, это я слышала ещё наверху, но думала, тут яма вроде погреба: грязь и мокрый камень. А внизу лежала чёрная вода, шире нашего двора. Другой берег я угадывала только по факелу. Правее той дыры торчала большая труба, и из неё с шумом валила вода. Стену возле огня кто-то гладко обмазал, она отсвечивала красным. Свод я заметила, только когда задрала голову: кирпич ряд к ряду, через всю эту воду. Анна говорила, под городом колонны стоят, много, как в лесу деревья.

Колонн не было. Ни одной.

Свет доставал и до меня, а рубашка на мне была белая. Я поползла ниже, к стене, где темнее. Камни скоро кончились, пятки нащупали ровный тёсаный край: ступени. Они уходили вниз, в воду. Я села на одну и сразу съехала задом на следующую, такая на ней была слизь. Вода плескала у самых пяток, зато тут была тень: огонь светил выше, в свод.

Его я заметила поздно, потому что он не шевелился. Он стоял у нижних ступеней, в воде по грудь, в двух шагах от меня, спиной. Вода вокруг него лежала гладко, как будто он там давно.

Вот тут мне стало страшно по-настоящему. Наверх нельзя, там свет. А здесь он.

Потом он повернулся, весь сразу, вместе с плечами. Голова у него была голая, ни волоса, ни бороды, круглая и серо-белая, как тесто, которое забыли под тряпкой. Кожа на лице разбухла и висела у рта мягкими складками. Глаза затянуло мутной плёнкой. Зрачков я при таком свете не разглядела, может, их и не было. С плеч в воду свисало тёмное тряпьё, когда-то, наверное, одежда.

Запах из пролома шёл от него. Теперь я знала, что это: стоячая вода и падаль, которая долго в ней пролежала. Так пахла собака, которую в Эдирне достали из колодца у кухни. Она гнила там неделю, повара потом весь день ходили блевать за стену.

Он открыл рот. Хрипел и булькал, будто в горле у него тоже стояла вода. Говорил он по-гречески, тянул слова, как читают над покойником. Одно сказал два раза подряд, его я и поймала: «палин». Опять. Анна так ворчала по утрам, когда с неба снова лило.

Я сказала шёпотом:

— Пошёл вон.

Так я гнала из комнаты служанку, которая уронила гребень. Он не ушёл.

На той стороне факел качнулся и пошёл. Не обратно в дыру: вдоль стены, низко над водой, по чему-то, что пряталось в тени. Отражение шло за ним. Сюда. Ко мне? К этому? Я подобрала ноги.

Подобрала не до конца. Пальцы из воды взяли меня за щиколотку, холодные и мягкие, а держали крепче, чем держит Дайе. Он дёрнул. Я съехала по ступеням на спине, руки скользнули по камню, ухватиться было не за что.

Вода сомкнулась над головой. Ледяная, она шла в нос и в рот, я хлебнула её, тухлую, хотела крикнуть и хлебнула снова. Рубашка задралась и вздулась вокруг меня пузырём, коса тянула голову вбок. Он тащил меня вниз и в сторону, ровно, без рывков. Над водой ходило красное пятно света, то ближе, то дальше.

Потом пальцы на щиколотке разжались. Почему, я не видела. Я забила руками к свету, рубашка облепила ноги.

Кто-то поймал мою косу, намотал на кулак и рванул вверх.

* * *

Вода шла из меня носом и ртом. Я лежала боком на ступенях, щекой в слизи, кашляла, пока не вырвало. Вырвало тоже водой. Кожу на голове жгло там, где рванули за косу. Вдохнуть до конца не получалось: в груди что-то булькало, как у того.

Он стоял ниже, по колено в воде, факел держал низко. Тот, в воде, никуда не делся: держался у края ступеней, по грудь, на прежнем месте, и ближе не шёл. Огонь был между нами. Голую голову от него воротило вбок. Вот, значит, отчего разжались пальцы.

Человек с факелом что-то ему сказал. По-гречески, это я разобрала, а слов не поймала: два или три, коротко, так говорят собаке «место». Потом шагнул и поднёс огонь к самому лицу. Тот отвернулся и сел в воду, медленно, будто в баню. Вода закрыла плечи, рот, голову, по ней пошли круги.

Человек сказал в эти круги ещё одно слово, сквозь зубы. Это был не греческий. И не наш. Такого языка я не слышала ни от кого.

Меня тот не послушал. Этого послушал сразу, с двух слов. Мне стало жутко и хорошо разом. Тот, кто только что тащил меня за косу на дно, сидел теперь под водой тихо, как велено.

Огонь повернулся ко мне.

Рубашка на мне была мокрая насквозь и при огне ничего не прятала: ни грудь, ни живот, ни тёмное между ног. Вот тут мне стало стыдно. Кто я, кто он, что за это бывает — вспомнилось всё сразу. Я полезла наверх по осыпи на четвереньках, колени съезжали по кирпичу, хваталась я за что попало, лишь бы подальше от огня и от него. Левой рукой взялась за край плиты, подтянулась, ладонь поехала по ребру. Больно сначала не было. Потом стало горячо, и по запястью потекло. Кровь на битом кирпиче была чёрная.

— Фатьма, — сказал он снизу.

Без «хатун», без «госпожи». Так меня зовут брат и Дайе, больше никто. А этот, чужой, в яме под старым крылом, сказал моё имя так, будто звал меня им каждый день.

Я развернулась и села, прижала руку к животу.

— Ты кто такой?

Вышло сипло, горло драло после воды. Он поднялся на две ступени и перехватил факел повыше. Теперь огонь светил и на него.

Отвернуться надо было сразу. Я смотрела. Щёки у него запали, и лицо от этого казалось совсем узким. Бороды он не носил, одни чёрные усы, концами ниже подбородка. У нас в его годы так не ходят, только мальчишки. Мокрый кафтан облепил ему грудь и плечи, на них я смотрела дольше, чем на лицо.

— Хочешь знать имя того, кто видел тебя без покрывала? — сказал он. — Чтобы было кого назвать брату, когда спросит?

По-турецки он говорил чисто, но по-старому, как старики при дворе отца.

— Тебя за это убьют.

— Знаю.

— Откуда ты знаешь моё имя?

— Покажи руку.

— Ты не ответил.

— Не ответил. Руку.

Я не показала. Он поднялся ещё на ступень и взял её сам, за запястье, повернул ладонью вверх. Порез шёл наискось, от мизинца через всю ладонь, края разошлись. Кровь натекла в рукав.

— Вода здесь гнилая, — сказал он. — Ты вся в ней, рука тоже. От такой грязи умирают.

И приложился к порезу ртом.

Рот был горячий. Он потянул кровь, отвёл голову, сплюнул на камень и опять приложился. Губы держал на моей ладони долго, я чувствовала, как он глотает. Второй раз я не видела, чтобы он плевал. Хаким, который вскрывал мне нарыв на пальце, так не лечил.

Я его боялась. Я хотела, чтобы он не отпускал.

Он стоял на ступень ниже, на одном колене. Лицо его было как раз вровень с моей грудью. Ниже моих глаз он не посмотрел ни разу. Я следила всё время, пока он держал руку. Ждала. Не посмотрел. Это меня разозлило сильнее, чем то, что он видел.

Он загнул мне пальцы по одному, в кулак, и сжал сверху своей ладонью. Ладонь у него была мокрая и холодная.

— Держи так. Не разжимай.

Он отпустил. Ноги тряслись, но я встала и стояла, пока он не отступил на ступень вниз.

— Иди, — сказал он. — Я посвечу.

Я лезла наверх одной рукой, кулак держала у груди. Огонь шёл за мной снизу, моя тень ползла впереди по камням раскорякой. Каждый мокрый камень я пробовала, прежде чем встать. Он за мной не поднимался. Я слышала, как он стоит: ни шагов, ни плеска.

У пролома я обернулась. Он так и стоял у ступеней и держал огонь высоко, как тогда, на той стороне.

— Женщина у твоего порога укрывается с головой, — сказал он.

Про Дайе он знать не мог. Она спит под навесом на женской половине, мужчине туда ходу нет. А он знал, и как она лежит, тоже знал. Значит, стоял где-то ночью и смотрел на мой порог.

— Переступай со стороны ног. У головы услышит.

* * *

Рубашку я стянула у самого пролома, через голову, одной правой рукой. Мокрое полотно липло к спине, ворот зацепился за ухо, я дёргала, пока не сняла. Кровь в темноте была не видна, но я знала, где она: в рукаве и на животе, куда я прижимала руку. Ночные рубашки Дайе смотрела сама. Такую она нашла бы где угодно: в сундуке, под тюфяком, в золе жаровни.

Я легла на живот и влезла в дыру по пояс. Камень холодил голую грудь, огня внизу больше не было. Плита, по которой я лезла, была слева, на самом верху осыпи, и под её край пролезала рука. Я затолкала туда рубашку комом, сколько хватило руки, подпихнула ещё пальцами и долго лежала, слушала, не плеснёт ли внизу по-новому.

С навеса лило струёй, как из кувшина. Я встала под неё голая, вода била в темя и бежала по спине и по животу на доски. Зубы стучали, а мне хотелось смеяться. Я подставила под струю левую руку и отмывала её правой ладонью от запястья до локтя, а сама тёрла ступни одну о другую, пока между пальцами не перестало скользить. Кулак держала сжатым: кровь под ним уже не шла, только кисть затекла. Потом перекинула косу вперёд и полоскала, отжимала и снова подставляла. Волосы всё равно пахли той водой, или мне так казалось.

Дайе лежала поперёк порога, укрытая с головой, ногами ко мне. Я остановилась над её ступнями, мокрой пяткой у самого одеяла. Задержала вдох и перешагнула через неё у ног, как он велел. С колена ей на ноги сорвалась капля, потом ещё одна. Дайе не шевельнулась. А я злилась до самой постели: с какой стати мне слушать мужчину, которого я даже по имени не знаю.

В комнате было черно. Я нашла ощупью ближний сундук у стены, подняла крышку, нашарила сверху сложенное полотно и по вороту узнала ночную рубашку. Своё бельё я брала сама впервые. Полотенце со вчерашнего мытья висело на краю таза, ещё влажное. Я отжала в него косу одной рукой, легла на кулак и уснула сразу, без снов.

Разбудил меня голос Дайе с галереи:

— Шафрана сюда. И лампу.

Служанки высыпали из своих комнат кто в чём. Шафран, чёрный евнух нашего павильона, прибежал в одной туфле, вторая осталась в грязи посреди двора. Он встал у кладки на колени, сунул лампу в дыру и долго не вынимал. Меня мутило от страха. Я стояла у своей двери и ждала, что он пошарит рукой влево, под плиту, и вытащит оттуда мою рубашку.

— Вода, — сказал он Дайе и отряхнул колени. — От дождей поднялась, хатун, и выдавила. Камни-то все сюда легли.

Камни и правда лежали на досках с нашей стороны, там же, где ночью.

— Госпожа ночью ничего не слышала? — спросил он меня.

— Воду слышала. Испугалась, лежала. Никуда не выходила.

Врать оказалось легко, легче, чем я думала. Ответ я придумала ещё вечером, на случай если проснётся Дайе. Да и кто он такой, евнух, чтобы я перед ним оправдывалась.

Дайе подошла ко мне. Складки от сундука так и стояли на рубашке поперёк груди и подола, сон их не разгладил. Дайе остановилась в шаге, и я сама учуяла от себя этот дух, затхлый, от той стены. Ноздри у неё дрогнули. Спать я ложилась при ней в другой, а мои рубашки она знает наперечёт. Сейчас спросит, куда я дела ту. Она ничего не сказала. При Шафране и не скажет, подумала я. Левую руку я держала в рукаве.

— Каменщиков, — сказала она Шафрану. — Сегодня. И сам к Повелителю.

Шафран поклонился и пошёл, хромая в одной туфле. Повелителем Дайе при слугах звала брата. Из-за дождевой воды к султану не посылают, тут хватило бы и каменщиков. Значит, Дайе было что передать ему кроме воды.

Каменщики пришли до полудня, двое. Нас развели по комнатам и закрыли ставни, Шафран стоял на галерее, пока они работали. Я смотрела в щель, но видела только спины и руки в растворе. Анна сидела рядом и шептала, что молодой красивый, только спереди зуба нет. К вечерней молитве дверь заложили снова.

Вечером Дайе пришла со своим тюфяком, скатанным с утра, бросила его снаружи у порога, вошла и подала мне чистую рубашку.

Я переодевалась при ней. Сундучную стянула через голову, левую руку держала в рукаве до последнего, а в новую сунула кулаком вперёд. Дайе смотрела, как я это делаю, и ничего не говорила. Утром, когда врала Шафрану, мне не было так страшно.

Сундучную она взяла у меня из рук, сложила вдвое, потом вчетверо и с ней пошла за дверь стелить тюфяк.

Глава 3

— Повелитель будет к полудню, хатун, — сказал Шафран с галереи. — Велел, чтобы госпожа ждала у себя.

Он только что вернулся от брата. Дайе кивнула ему и вошла ко мне. Я с рассвета сидела на софе одетая, в дневном, левый рукав спущен до пальцев. Кулак под ним я держала на колене второй день. Кисть ныла уже сильнее, чем порез.

— Это он из-за мокрых камней сам едет? — спросила я. — Что ты ему передала, Дайе?

— Что видела, то и передала.

Она стянула с меня покрывало, перевязала убор туже и переколола булавку, которую я утром воткнула криво. Вчера она видела на мне сундучную рубашку и учуяла запах той стены. Видела и как я прятала руку. Про руку я боялась больше всего.

— А что ты видела?

— Пояс, — сказала Дайе.

Я встала. Она обвязала меня шёлковым поясом в два оборота и затянула узел на боку, руки у неё ходили быстро, и левой моей она ни разу не задела. Потом велела служанкам взбить подушки, сама подсыпала углей в жаровню и стояла над ней, пока не занялось. Дождь перестал ещё ночью, ставни открыли, в комнату тянуло мокрой землёй со двора.

Брат пришёл раньше полудня, с одним Шафраном. К моей двери он сразу не пошёл. Прошёл галереей в самый конец, к новой кладке, нагнулся и повёл пальцем по швам, потом ковырнул раствор ногтем и показал Шафрану. Шафран закивал. Если кладка ему не понравится, он велит её разобрать, и в дыру полезут с лампой. У меня вспотела спина. Он выпрямился, отряхнул пальцы и пошёл ко мне.

У порога он скинул туфли.

— Иди, Дайе.

— Поешь потом у меня, — сказала она ему. — Опять небось с утра ничего не ел.

Так с султаном не говорил никто, кроме неё. Дайе вышла и притворила дверь.

— Ну, Мах, — сказал он и сел на софу, подобрав ноги.

Мах по-персидски луна. Так он звал меня с тех пор, как начал писать стихи, а писать он начал лет в десять. У поэтов луной зовут любую, кто хоть немного хороша, поэтому я этому слову никогда особенно не верила, хотя от него слушать любила.

Ресницы у него были длиннее моих, а борода с осени отросла и стала рыжее. Он рассказывал про новый дворец на холме над морем и водил пальцем по ковру, против ворса, так что за пальцем оставалась тёмная полоса.

— Стена пойдёт от Золотого Рога до Мраморного моря. Вот так, — он провёл черту через весь ковёр. — Над воротами поставлю павильон. Сядешь там и смотришь на море, на весь город. Во дворах кипарисы. Тихо будет так, что людей не услышишь.

— А я там где буду сидеть?

— Здесь, — сказал он. — Где днём сидят мои визири, там ни одна женщина ночевать не будет.

Сказал так же, как про кипарисы. Я и сама знала, что моё место в Старом дворце, но от него это слышать было обидно.

Он пригладил ворс ладонью, и черта пропала.

— Позавчера ночью тебе что-нибудь снилось?

— Нет.

Это была правда. Про мои сны он не спрашивал меня ни разу в жизни, даже маленькую.

— Дайе говорит, ты ночью переоделась, — сказал он. — А рубашки, в которой ты легла, нигде нет.

О руке он не сказал ни слова. Я соврала сразу, пока он не спросил ещё чего-нибудь.

— Жарко было. Дайе натопила, я вся вспотела и переоделась. А куда служанки дели ту, откуда мне знать. Унесли стирать, наверное.

— Жарко, — повторил он. — В дождь.

Я кивнула. Он почесал бровь, как в детстве, когда я жульничала в нарды и он это видел.

— Ну, жарко так жарко. Ты у меня умная, Мах. Помнишь зиму, когда умер отец? Ты привела ко мне его жену. Сама, за руку. И ни о чём меня не спросила, ни тогда, ни потом. Другая бы на твоём месте…

Она шла поплакать с ним об отце, как положено вдове, а сама до дрожи боялась нового султана. Рука у неё была горячая и мокрая. Она всю дорогу по переходу сжимала мои пальцы, а мне хотелось вытереть ладонь о платье. Спросить, зачем вести её велели мне, а не евнуху, было можно. Я не спросила. Вскоре её выдали за Исхак-пашу и увезли. Чем кончится его «другая бы», я слушать не хотела.

— Для кого Дайе сушит мои сундуки? — спросила я.

Он не договорил, засмеялся в бороду и подтянул к себе подушку.

— А ты за кого хочешь?

— Не знаю. Хочу увидеть его раньше, чем он увидит меня.

Он хлопнул ладонью по колену, ему понравилось. Мужа мне до свадьбы не покажут, так заведено, и брат знал это лучше меня.

— Послезавтра на Ипподроме мои всадники будут бросать джирид против христианских. Город полупустой, людям нужен праздник. Сядешь за решёткой и смотри на всех, Мах.

— А если выберу?

— Выберешь — скажешь.

Мы оба засмеялись. Сказать я ему могла кого угодно, решать всё равно будет он. И про сундуки он мне так ничего и не ответил.

Он встал, и я встала проводить. У двери он взял меня за левую руку, прямо за кулак в рукаве, поднёс к губам, поцеловал через ткань и прижал ко лбу. Так целуют руку старшим. В детстве это была наша шутка, на прощание: султанский сын кланяется девчонке. Пальцы вдавило в порез, ладонь будто разрезали заново. Я улыбалась. Он подержал мою руку у лба ещё немного, отпустил и вышел на галерею, где Шафран уже ставил ему туфли.

* * *

Дротик попал христианину между лопаток и отскочил, а тот только пригнулся к гриве и погнал дальше. Внизу заорали так, что решётка загудела у меня под пальцами. Дротики были деревянные, без железа, просто палки в руку длиной. Но кидали их с седла на всём скаку, и Дайе ещё утром сказала, что к вечеру у половины этих молодцов головы будут в шишках.

Я сидела на подушке у самой решётки, правой рукой держалась за перекладину, левый кулак лежал в рукаве на колене. Решётка была золочёная, нагретая солнцем, с ячейками в два пальца. Нас снаружи не видели, а нам было видно всё. На деревьях за ареной висели люди, по пять, по шесть на ветке, и один сорвался, когда наши в красных кафтанах погнали христиан к его краю. За деревьями торчал из земли каменный столб, острый, весь в выбитых птицах.

— Сюльтанские опять гонят! — Анна вцепилась в решётку рядом со мной.

Она так и говорила, «сюльтан», «сюльтанские»: «у» по-нашему у неё не выходило, сколько её ни поправляли.

Беи сидели у шатра брата под навесом, в ряд. Я перебирала их по одному: этот молодой, у этого живот на коленях, этот спит с открытым ртом.

— Который из них соколиный?

— Откуда мне знать, госпожа. Я его в лицо не видела. Только от повар слышала.

— А повар видел?

— Повар и сюльтана не видел, госпожа.

— Значит, буду смотреть на всех подряд, раз уж мне так велели, а там разберусь.

Анна прыснула в ладонь. Сзади Дайе сказала:

— Обе — на игру.

Христиане были одеты кто во что, победнее наших. Один из них нагнулся с седла за дротиком, достал его с земли, выпрямился — кафтан натянулся у него на спине. Я узнала плечи раньше лица: на них я в ту ночь, под землёй, смотрела дольше, чем надо. Потом он повернул коня, и я увидела запавшие щёки, бороды нет, чёрные усы ниже подбородка. На солнце, на сером коне, среди людей, он был обыкновенный. Христианин из тех, что брат держит при дворе.

Мне захотелось, чтобы в него попали. Чтобы его сшибли с коня у всего города на глазах, а я бы посмотрела, как он падает.

Тут же, совсем спокойно, я поняла и другое. Одно моё слово брату, и его убьют. «Тебя за это убьют», — сказала я ему тогда внизу. Он ответил: «Знаю». Теперь я знала, кто он. Кому сказать, тоже знала. Я держала это слово во рту и не глотала.

На помост он и головы не повернул. Там, внизу, он смотрел мне в лицо и ниже глаз не опускал. Здесь ему и смотреть было не на что: снаружи помост — одна позолота.

Наш, в красном, погнал на него, кинул и промахнулся. Христианин развернул коня на месте, привстал в стременах и бросил почти в упор. Дротик ударил нашего в грудь, тот откинулся назад и съехал с коня в песок. Под навесом вскочили, я тоже привстала.

— Убил! — Анна схватила меня за рукав, за правый.

— Живой, — сказала Дайе. — На место, Дильруба.

Наш полежал, сел, помотал головой и поднялся сам, крови на нём не было. Кругом орали, а от злости или от радости, я разобрать не могла.

В перерыве по ступеням поднялся брат.

— Поел хоть, Повелитель? — спросила Дайе и отошла к стенке шатра.

— Поел, Дайе.

Анна сползла с подушки на колени. За братом шёл молодой человек. Он остался снаружи, у окошка в решётке, через которое подают.

— Хорошо видно, сестра?

— Видно, Повелитель.

При людях я брата так и звала.

— Христиане у Повелителя проигрывать не умеют, — сказала я. — Вон тот, усатый, чуть не убил человека Повелителя. Кто его учил так бросать?

— Мы и учили. — Брат сел рядом на мою подушку, подвинув меня плечом. — Это Влад. У нас его зовут Дракулой, Драконовым сыном: отца у него прозвали Драконом. Отец отдал его нашему отцу в залог, мальчишкой.

Я сидела, прижавшись лбом к своей ячейке. Влад ехал шагом вдоль края арены и вертел дротик в пальцах.

— Знаешь, как он на меня смотрит? — Брат засмеялся. — Как я на Халила смотрел, когда мне было двенадцать.

Халил-паша был визирем отца. Когда отец посадил брата мальчиком на престол, решал за него всё Халил, а брат сидел рядом и молчал. А после того как мы взяли этот город, брат велел Халила казнить. Значит, этот, на сером коне, убил бы брата, если бы мог. Брат это знал и держал его при себе.

— Зачем же Повелитель такого держит?

— А зачем держат запасной ключ? — Брат постучал пальцем по решётке. — Валахия — дверь. Пока ключ мне нужен, пусть смотрит.

Заложник, подумала я. А ночью стоял у моего порога, на женской половине, куда мужчине ходу нет.

— А это брат его, Раду. — Брат кивнул на окошко. — Тот отцовский, а этот мой.

Брат поднял два пальца, и Раду подал в окошко поднос. На подносе стояли чашки с шербетом, в шербете плавал лёд. Анна оглянулась на Дайе через плечо.

— Дайе-хатюн, можно?

— Бери, Дильруба. Рук не высовывай.

Анна взяла поднос и держала его на коленях, глядя на Раду сквозь решётку. Он был красивый, это видел каждый: Анна, брат и, похоже, он сам. Лицо гладкое, рот мягкий. Меня он не видел, хоть и стоял почти вплотную.

— Повелитель велел подать вам первой, хатун, — сказал он в решётку наугад, мимо моего лица. — Пока лёд не растаял.

Я взяла чашку правой рукой.

— Благодарю.

Дайе шагнула от стенки и дёрнула Анну за рукав. Анна наконец опустила глаза и подала чашку брату. Брат отпил и вытер усы пальцем.

— Ну, сестра. Смотрела на всех?

— На всех.

— И кого выбрала?

— Того, что с шербетом.

Брат засмеялся в чашку и ничего не сказал.

Раду стоял за окошком с пустыми руками, на расстоянии руки от меня, и всё слышал.

Глава 4

— Выбирай, — сказала Дайе и положила мне на колени два мотка шёлка, красный и жёлтый.

Было это через два дня после Ипподрома, до полудня. Дверь на галерею стояла открытая, солнце лежало на полу до самой жаровни, где с утра тлели угли. После разбора сундуков часть моего приданого пришлось менять: что сопрело у сырой стены, что побила моль. Торговку, гречанку Зою, привёл Шафран и остался стоять на галерее. Зоя была немолодая, с чёрными усиками над губой, и по-турецки трещала быстрее самой Дайе.

Шёлк был на простыни, обшивать край. Шили их к свадьбе, а за кого мне идти, решил брат. Мне оставалось выбрать, какого цвета будет край.

— А если я никакой не хочу? — спросила я.

— Тогда я выберу.

Зоя тем временем раскладывала на ковре ленты и говорила без остановки. В одном доме дочь просватали, в другом свекровь побила невестку туфлей, а во дворце, говорят, тоже скоро свадьба.

— Хамза-бей, что у султана соколами ведает, берёт, говорят, жену из дворца, — сказала она. — Сама я его не видела, а люди видели. Руки у него все в рубцах от когтей, до самого локтя. Он и дома птицу с руки не спускает, с ней и ест.

— Ленты, — сказала Дайе. — Про беев — на базаре.

Зоя поджала губы и стала разглаживать ленты.

О Хамзе-бее я слышала второй раз. Первый раз мне шепнула о нём Анна, когда мыла мне голову, только про руки тогда никто ничего не знал. Теперь у жениха появились руки. Я представила, как такая рука ляжет мне на голый живот, вся в буграх, шершавая, как пятка, а на другой его руке будет сидеть птица в колпачке и вертеть головой на каждый мой вздох. Мне захотелось вымыть живот прямо сейчас, при всех.

Анна сидела на корточках возле Зои и перебирала с ней ленты. Говорили они по-гречески, тихо и быстро. Я разобрала «тора[1]» — «сейчас», и ещё одно слово, которого не знала. Дайе их не слушала. По-гречески она понимала только цену да «хорошо» и «плохо», а остальное было для неё как воробьи под навесом.

Анна поднялась и подала мне маленький кошелёк, расшитый бисером.

— Посмотрите, госпожа.

Кошелёк был лёгкий, но внутри что-то хрустнуло. Я сунула туда два пальца и нащупала бумагу, сложенную в тугой квадратик. Дайе стояла в шаге от меня и держала на ладони жёлтый моток.

— Дайе, а красный разве вишнёвый? Он же в рыжину. Стыдно такой на простыню.

Мне было всё равно, какой там красный. Мне надо было, чтобы Дайе повернулась к Зое, и она повернулась.

Правой рукой я вытащила бумагу и затолкала в левый рукав, поглубже, к локтю. Кошелёк бросила на ковёр.

Читать Дайе не умела. Но бумагу из кошелька она отнесла бы брату не разворачивая, и тогда Анну продали бы, а Зою засекли бы во дворе. Испугалась я за них только теперь, до холода в пальцах.

— Темнее есть? — спросила я и подняла с колен красный моток.

— В лавке есть, хатун. Как сливовая кожура. Дней через пять принесу, и ленты к нему подберу.

---

[1] **тора**— «сейчас» (греч.).

— Пойдём. Там посчитаешь.

Дайе вывела её на галерею, к Шафрану, платить и заказывать. Было слышно, как Зоя набивает цену, а Дайе сбивает её по одной монете.

Анна тут же села ко мне на край подушки.

— Это Зое в городе дали, — зашептала она. — В одном доме, где она торгует. Велели сказать: от того, кто подавал шербет. Сама Зоя не знает, что там. Ей только сказали, что для сестры сюльтана.

Я повернулась спиной к двери, вытянула бумагу из рукава и развернула на коленях. Буквы были персидские, ровные, так пишет тот, кого долго учили. Подписи не было. Анна этих букв не читала и ждала. Там было две строчки:

«Луны за решёткой я не увидел, мне достался лишь голос. Лёд в моей чаше растаял, а жажда осталась со мной».

Луной меня звал брат, Мах, и больше никто. Мог Раду услышать это слово от брата? Мог. А мог брат и сам велеть ему написать, чтобы проверить, кого я выбрала на самом деле. Или у поэтов луна — любая, как я всегда и думала. Я перечитала строчки и так и не решила. Если это проверка, я её уже не прошла: бумагу я спрятала от Дайе, а послушная сестра отдала бы ей сама. Я оглянулась на дверь. На галерее Зоя ещё спорила из-за монеты.

Раду был братом того, на сером коне, а того я с Ипподрома не могла выкинуть из головы.

— Что там, госпожа? — Анна протянула палец и тронула край бумаги. — Он это сам писал? Своей рукой?

Анна ждала и пальца с бумаги не убирала.

— Сам, — сказала я. — Пишет, что лёд у него в чаше растаял, а пить всё равно хочется.

— И всё?

— И всё.

Анна убрала палец.

— А брата госпожа спросила? Про моих, куда их увели?

— Случая не было.

Она кивнула, будто другого и не ждала.

Писать в ответ было нельзя. Стихи без подписи ещё можно было выдать за чужую забаву, а бумагу с моими буквами брат узнал бы с первой строчки. Мою руку он знал с детства.

— Скажешь Зое, пусть ему передаст, — сказала я. — Стихи хорошие, только чужие, как у всех поэтов. Чужие я и сама читать умею. Пусть в другой раз скажет своё, если найдёт что.

Анна повторила за мной шёпотом, слово в слово, два раза.

— Я скажу Зоя, госпожа.

— Дильруба! — позвала с галереи Дайе.

Анна вскочила и вышла.

Я прочла обе строчки ещё раз, потом ещё, одними губами, пока не смогла сказать их с закрытыми глазами. Потом положила бумагу на угли и прижала щипцами, чтобы её не подбросило жаром. Край потемнел и занялся. Я держала, пока она не прогорела вся, повесила щипцы на край жаровни и вытерла пальцы о подол.

* * *

Как я села в лодку, я не помнила. Я сидела на корме, на сырой доске, и обеими руками держалась за борта. На мне была кисейная рубашка со дна сундука, та самая, которую служанка мне даже потрогать не дала. Волосы были распущены. Анна каждый вечер заплетала мне на ночь косу, а тут они лежали по спине до пояса, я чувствовала их сквозь кисею.

На дне лодки стояла вода, на палец, холодная. Воды я теперь боялась. Шесть ночей назад я уже тонула под этим городом и помнила, как она лезет в нос и в рот, а дна нет. Я подобрала подол повыше и вцепилась в борта крепче.

Вокруг из чёрной воды рядами поднимались колонны. Анна, выходит, не врала. Там, где я тонула, колонн не было, а здесь они уходили в темноту, сколько хватало огня. Вода стояла почти у самых резных верхушек, над ними сразу начинался кирпичный свод. Встань я в лодке, достала бы до него рукой.

Грёб мужчина. Он сидел посередине лодки, лицом ко мне, а за его спиной на носу горел факел. Свет падал на меня, он же против огня был чёрный, одни плечи и голова. Плечи я узнала раньше, чем успела подумать, кто это может быть.

— Влад, — сказала я.

Имя я знала от брата и третий день держала при себе, а вслух сказала первый раз.

— Фатьма, — ответил он и грёб дальше, ровно, без плеска.

— Тут глубоко?

— Глубоко. Сиди смирно.

Я сидела смирно. Голос был тот же, что тогда внизу, и турецкий тот же, старый, придворный. Тому, что я знаю его имя, он не удивился.

Лодку повело между двух колонн, огонь качнулся вбок, и свет наконец лёг ему на лицо. Лицо было то самое, с Ипподрома, только без решётки и близко.

В ту ночь, у ступеней, он ниже моих глаз не опустил взгляда ни разу. Я следила и ждала. Теперь он оглядел меня всю, не торопясь, сверху вниз: шею, грудь под кисеей, живот, руки на бортах, колени. Потом так же медленно обратно, к лицу. Я сидела на самом свету, деться в лодке было некуда. Рубашку шили на первую ночь с мужем, первым меня в ней должен был увидеть муж. А передо мной сидел он. От стыда у меня горели уши, но прикрываться я не стала. Я хотела, чтобы он смотрел.

— Насмотрелся? — спросила я.

— Нет.

— Это не для тебя шили.

— Знаю.

Грести он при этом не перестал.

— Это сон?

— Да.

— Тогда тебя за это не убьют.

— Здесь не убьют.

— А наяву?

— Наяву — если скажешь брату.

— Может, и скажу.

— Скажи.

Одна колонна прошла у самого борта. Я отпустила правую руку и протянула к ней. Эта была не гладкая, как другие. Над водой её всю покрывала резьба: выпуклые круглые глаза, ряд над рядом, как на павлиньем пере. Камень был мокрый и холодный, глаза под пальцами шершавые. Я вела по ним ладонью, пока колонна не ушла назад, в темноту.

— Зачем ты стоял у моего порога?

— Смотрел, кто тебя стережёт.

— Ну и кто?

— Одна женщина. Спит поперёк двери.

— Дайе хватит на кого угодно.

— На меня — нет.

За Дайе мне стало обидно. Потом приятно: на него её не хватит.

Он сделал ещё несколько гребков и спросил, не поднимая головы:

— Брат спросил тебя на Ипподроме, кого ты выбрала. Ты назвала того, кто подавал шербет. Почему?

— А тебе что за дело? Тебя никто не спрашивал.

— Я спрашиваю сейчас.

Днём я бы соврала. Сказала бы, что Раду красивый, что шербет был со льдом, что брат ждал ответа и надо было назвать хоть кого-нибудь. Здесь врать не хотелось. Я сидела перед ним в одной кисее, так что прятать что-то ещё было глупо.

— Чтобы не назвать тебя.

Он вынул вёсла из воды, положил их вдоль бортов и больше не грёб. Лодка пошла сама, тише и тише, к свету.

Впереди, между колоннами, на воде лежало светлое пятно, с поднос величиной. Свет падал сверху, из круглой дыры в своде, будто там был колодец. Лодка вошла в пятно краем. Снизу, из чёрной воды, к нему поднялась рыба, длинная, с мою руку. Она повернулась боком у самой поверхности и стояла, будто грелась. Мне захотелось потрогать её или сам свет, я не знала, чего больше. Я перегнулась через борт и потянулась рукой.

Лодка легла на бок. Борт ушёл вниз почти до воды, меня потянуло следом, головой вперёд. Я знала, как это будет. Вода в носу, во рту, а взяться не за что.

Он поймал меня за волосы. Не рванул: взял их в кулак у самого затылка и потянул назад, на доску.

— Сиди.

Нас покачало, потом лодка встала ровно. Я сидела, а он держал, хотя держать было уже незачем. Он наклонился ко мне, так что свет из дыры падал теперь на нас обоих. Пальцы у него были тёплые и лежали у меня на шее. Мне хотелось, чтобы он намотал волосы на кулак и подтащил меня к себе.

— Придёшь? — спросил он.

— Куда?

Ни куда, ни когда он не сказал, и кулака не разжал.

— Да, — сказала я.

Утром я лежала у себя в постели, лицом к стене. Сквозь ставни уже шёл серый свет. Сон я помнила весь и не видела в нём ничего странного: колонны я взяла у Анны, лицо — с Ипподрома, а разговаривала с ним всю ночь оттого, что днём мне прислал стихи мужчина и я твердила их наизусть.

Дверь открылась. Анна вошла с кувшином тёплой воды и поставила его у жаровни.

— Госпожа хорошо спала?

Глава 5

— …а я ей с вечера говорю: Лале, ведро подними, крышку задвинь, сколько тебе повторять. А она мне: да, калфа[2], да, калфа. Утром прихожу котёл ставить, крышка сдвинута, ведро внизу на верёвке болтается, верёвка к крюку привязана, всё как положено, а её нет. Башмак у края стоит. Один. Второй я искала, под лавки лазила, к истопнику ходила, а он спит, ничего не видел, он всегда спит. А в каморке вонь, хоть беги. Я с утра рутой окуриваю, а всё одно несёт. Я её ночью за водой не посылала, хатун. Она вечером черпала, на утро, как всегда. А ночью я её не посылала, кого хотите спросите.

Хаджер-калфа, старшая над банщицами, стояла перед Дайе в мокром переднике и рассказывала это уже второй раз, на весь горячий зал. Лале была из её девушек, молоденькая гречанка. За горячим залом была каморка с люком в полу, под люком стояла вода. Лале каждый вечер черпала оттуда ведром в котёл, чтобы утром было что греть.

До этого я скучала. В банный день женщины дворца сидят под куполом с утра до обеда, и ничего не происходит: пар, ковшики, кто кому что сказал. Я сидела в своей нише у мраморной чаши, вода бежала в неё из медного носика. Рукава в бане нет, поэтому левая рука лежала у меня на колене кулаком, как все дни с той ночи.

— Да сбежала она, — сказала женщина с крашеными бровями от соседней чаши. — С водоносом. С греком этим, что нам питьевую воду в дверцу подаёт. Я сама видела: он ей в дверцу шепчет, она ему.

— А он ничего, этот грек, — сказала другая, помоложе. — Плечи вон какие. Я бы тоже пошепталась.

Засмеялись все, даже банщицы, одна Хаджер-калфа стояла и мяла в руках мокрый передник.

— Сбежала, — сказала Дайе. Она сидела на ступени у стены, красная от пара, с полотенцем на плечах, и голоса не повышала. — Искать будут привратники, не вы. А кто ещё про это рот раскроет, пусть потом на себя пеняет. Хаджер, котёл.

Калфа ушла к котлу. Смеяться перестали, и Анна, которая сидела позади меня с гребнем, наклонилась к самому моему уху:

— Лале ночью одна к воде не пошла бы, госпожа. Мы с ней в один год сюда попали, когда город брали. Она и днём в каморка без меня не ходила.

Дверь в каморку оставили открытой, чтобы выветривалось. Сквозь пар и мыло оттуда тянуло стоячей водой и падалью, совсем немного, кто не знал, тот и не разобрал бы. Я знала. Так пахло из пролома в ту ночь, и так пахло от того, в воде, когда он стоял у нижних ступеней ко мне спиной.

Значит, тот, в воде, ходил и здесь, под баней, где мы каждую неделю сидели голые. А слушался он Влада с двух слов, я сама видела.

Серьги на мне были от брата, золотые, с тремя жемчужинами на каждой: он прислал их мне, когда взял город. Я сняла правую, будто она мне мешала, и пальцем затолкала её под край чаши, туда, где мрамор отходил от стены, поглубже. Вечером без дела в пустую баню меня никто не пустит, а за серьгой брата пустят. Люк я должна была увидеть. Под ним шла та же вода, что под моим полом, а во сне Влад спросил «Придёшь?» и не сказал куда. Может, сюда: где ходил тот, в воде, там была дорога и Владу.

— Дильруба, — сказала Дайе. — Простыни, сухие, из холодного зала. И шербет.

— Сейчас, Дайе-хатюн.

---

[2] **калфа**— старшая служанка в гареме, которая надзирает над младшими.

Анна ушла. Вместо неё ко мне подсела банщица с рукавицей. Тёрла она больно, как положено, со спины катилась серая грязь, и я терпела. Потом она взяла меня за левое запястье.

— А тут у госпожи что? — Она засмеялась и потянула кулак к себе. — Золото прячете? Покажите, я никому не скажу.

— Не трогай.

Я дёрнула руку. Банщица не отпустила, ей было весело, а женщина с крашеными бровями уже тянула шею от своей чаши.

— Сама, — сказала Дайе.

Она встала со ступени, забрала у банщицы рукавицу и села на её место. Банщица отошла. Дайе мыла меня сама, как мыла лет до девяти: шею, за ушами, плечи, крепко и не спрашивая. Потом положила мою левую руку себе на колено и стала большими пальцами разжимать мне пальцы, по одному. Вырвать руку я могла. Тогда вся баня увидела бы, как сестра султана дерётся с Дайе из-за кулака, и на ладонь стали бы смотреть уже все.

Пальцы затекли и разошлись легко. Через ладонь, от мизинца наискось, шла тонкая ровная полоса, розовая. Корки на ней не было. Я смотрела на неё каждый вечер и знала, что она закрывается быстро, но тут, при свете из купола, она выглядела так, будто ей месяц. Я опять подумала про горячий рот Влада на этой ладони, там, на ступенях. Хаким так не лечил.

Дайе потёрла полосу большим пальцем, сильно, как будто она смоется.

— Старый, — сказала я. — Ещё в Эдирне порезалась.

— Не было у тебя такого. — Головы она не подняла. — Я твои руки знаю, сколько ты на свете живёшь.

Свободной рукой она загибала пальцы у себя на колене и шевелила губами.

— Восемь дней, — сказала она. — С той ночи, как стену проломило.

Порезов на мне она за жизнь видела много и ни разу из-за них не бледнела. Тут побледнела так, что было видно даже в пару.

— Что это у госпожи с рукой? — спросила та, с крашеными бровями.

— Обожглась, — сказала Дайе. — О жаровню. Полезла угли поправлять без щипцов, вот и получила.

Она сказала это так спокойно, что я сама чуть не вспомнила жаровню. Дайе меня прятала. От них или от брата, я не знала.

В холодном зале все сидели уже в льняных сорочках, распаренные, и ели. Дайе развела в чашке хну[3], густо, и намазала мне всю левую ладонь толстым слоем, до самых пальцев. Рубца под хной не стало видно. Сверху она положила тряпицу.

— К свадьбе всё равно красить, — сказала она и, уже затягивая узел, спросила: — Что тебе снится?

— Ничего.

Лодку, колонны и кулак Влада у меня в волосах я помнила целиком. О снах меня уже спрашивал брат. Тогда я сказала «нет», и это была правда.

— Ну и слава Аллаху, — сказала Дайе и затянула узел так, что пальцы под тряпицей начали неметь.

Потом она села рядом со мной и взялась за халву. При ней никто бы не полез смотреть, что у меня под тряпицей. Женщина с крашеными бровями опять рассказывала про водоноса, какие у него плечи и что на один глаз он кривой. Молодая говорила, что ей и кривой сгодится. Банщица ходила между ними с кувшином айрана[4]и подливала всем, кто протягивал чашку.

---

[3] **хна**— рыжая краска из толчёных листьев кустарника. Ею красят волосы, ладони и ступни, а невесте перед свадьбой, в «ночь хны», натирают хной ладони и пальцы.

[4] **айран**— кислое молоко, разбавленное водой, с солью: простое прохладное питьё турок.

* * *

— Серьгу я в бане оставила, — сказала я Шафрану. — Правую, ту, что брат прислал, когда взял город. До утра банщицы подберут. Одна у них уже сбежала, сбежит и вторая, с моим жемчугом.

Шафран посмотрел на моё правое ухо. Мочка была голая, на левой висели три жемчужины, спорить тут было не о чем. Дайе с обеда ушла к воротам, говорить с привратниками о беглой. Спросить разрешения ему было не у кого, отказать мне сам он не смел. Он поклонился и пошёл за светильником. Одну меня он всё равно не повёл бы, это я знала, поэтому сама крикнула Анну, пока он не позвал кого-нибудь поглазастее.

Через двор я шла за его спиной и кусала щёку изнутри, чтобы не засмеяться. Утром я пальцем затолкала серьгу под чашу, а к вечеру евнух сам вёл меня в пустую баню и на ходу оглядывался, не очень ли госпожа расстроена.

У двери бани он зажёг от своего второй светильник и подал мне. Анна несла свой.

— Я здесь, госпожа, у двери. Госпожа пусть крикнет, если что.

Дальше он не пошёл.

Баня была пустая. Камень ещё не остыл, тепло шло от стен и от пола, с купола капало, и капли щёлкали по мрамору то здесь, то там. Пахло мылом и мокрым деревом. Круглые окошки в куполе посерели, свет из них до пола уже не доставал. Анна остановилась на пороге горячего зала и прижала светильник к груди, огонь подсвечивал ей подбородок.

— Она тут ещё вчера ходила, госпожа, — шёпотом сказала Анна. — С ведро, вон в тот котёл.

— Ищи у чаши, где я сидела, — сказала я. — Под краем, у стены, там мрамор отходит. Пошарь рукой. А я посмотрю у котла.

Утешать её я не стала: утешенная, она вцепилась бы мне в рукав и пошла за мной. Анна постояла ещё немного и двинулась вдоль стены к моей нише, её огонь поплыл по мокрому камню.

Дверь в каморку за горячим залом к вечеру прикрыли. Я толкнула её плечом, вошла и закрыла за собой спиной. Пахло рутой, которой калфа окуривала с утра, а под рутой тем же, что утром тянуло из открытой двери. Ведро стояло у стены, верёвку смотали и повесили на крюк. Люк был посреди пола, квадратный, с деревянной крышкой, тёмной от сырости, и с железным кольцом.

Я поставила светильник на пол и взялась за кольцо правой рукой. Крышка не пошла. Я упёрлась коленом в камень, потянула ещё раз, и она поднялась на ладонь и сразу потащила меня обратно вниз, такая была тяжёлая. Левая рука под тряпицей сама сжалась в кулак, будто тоже тянула. Я перехватила кольцо, подставила под край плечо и откинула крышку к стене, придержав в последний миг, чтобы не грохнула.

— Госпожа! — позвала Анна из зала. — Вы где?

— У котла, — сказала я. — Ищи.

Под люком уходили вниз три каменные ступени, может, четыре, все в зелёной слизи. Сразу под последней стояла вода. Я встала на колени у края, взяла светильник и опустила его в люк, сколько пускала рука. Огонь лёг на слизь и на воду, чёрную и такую гладкую, что в ней отразился. На нижней ступени, у самой воды, лежал башмак. Банный, деревянный, на высокой подставке, в каких банщицы ходят по мокрому полу, чтобы не поскользнуться. Калфа утром нашла у края первый башмак. В люк она не светила и второго не увидела.

Лале ушла не через стену с водоносом. Она ушла сюда, в воду.

Огонь у меня в руке задрожал, и тени на ступенях задрожали с ним. Вода не шевелилась. Восемь дней назад такая же вода стояла тихо до той самой минуты, когда меня утащили под

неё. Если он сейчас там, под этой гладью, ему хватит одной руки на моём запястье. Анна у чаши, Шафран за двумя дверями, никто ничего не услышит, а утром калфа найдёт у края светильник. Я отодвинула колени от люка. Потом опустила светильник на камень у самого края, легла левым локтем на камень, чтобы не трогать завязанную ладонь, и сунула вниз правую руку.

До нижней ступени я достала с трудом, вытянувшись так, что заныло плечо. Пальцы прошли по слизи, задели воду, ледяную, хуже колодезной, и нащупали дерево. Башмак был мокрый и холодный, ремешок на нём осклиз и выскальзывал. Я сжала его сильнее и потянула наверх.

— Нашла! — крикнула Анна из зала. — Госпожа, нашла!

Её свет качнулся и пошёл через горячий зал ко мне, щель под дверью стала светлеть.

Башмак был у меня в руке, над самой водой. Покажи я его, завтра в этот люк полезут люди с баграми и факелами. Найдут того, в воде, а от него выйдут на того, кто им командует, на Влада. А я Владу обещала прийти.

Я бросила башмак в воду.

Деревянные ковшики в бане не тонут, в детстве я их топила и не могла утопить. Башмак ушёл вниз сразу, весь, будто его снизу взяли и потянули. По воде прошёл один круг, и стало опять гладко.

Я схватила кольцо. Крышка пошла вниз сама, своей тяжестью, рванула мне руку, пальцы я выдернула в последний миг. Стукнуло глухо, на всю каморку. Светлая полоса под дверью стала шире, дверь качнулась, и огонь Анны лёг на крышку, на мои колени и на правую руку, с которой ещё капало на камень.

Глава 6

Утром Шафран пришёл на галерею к моей двери и при мне доложил Дайе:

— Вчера вечером, хатун, госпожу в баню водил. За серьгой. Сам у двери стоял, внутрь не входил.

Дайе сняла туфлю и ударила его подошвой по щеке, один раз, без замаха. Шафран не закрылся и не отступил. Он был на голову выше её, седой. Так и стоял, опустив руки, пока она обувалась обратно, держась за его же рукав.

— Это я велела, — сказала я с порога. — Он идти не хотел.

Дайе ко мне даже не обернулась.

— Серьги. Обе.

Обе были на мне. Правую Анна нашла вчера и отдала мне ещё во дворе бани, вечером я её надела. Замок у неё был тугой, я дёргала его, пока не заболела мочка.

— Живее, — сказала Дайе. Она ждала с открытой ладонью. Я положила в неё серьги, золото и шесть жемчужин, она зажала их в кулаке и сунула за пояс.

— Брату отдам.

— Он их мне прислал, Дайе. Не тебе.

— Вот ему и отдам.

Анна стояла у стены с кувшином. Дайе шагнула к ней и встала между нами, спиной ко мне.

— Дильруба. Серьгу кто нашёл?

— Я, хатюн. Под чашей, у стены.

— А госпожа где была?

Я открыла рот, и Дайе, не оборачиваясь, подняла ко мне ладонь. Через её плечо мне было видно Аннино лицо. Анна перехватила кувшин поудобнее.

— У котла, хатун. Тоже искала.

Врала она ровнее, чем умела я, и даже «хатун» выговорила чисто. Я отпустила косяк, за который, оказывается, держалась.

— Шафран, — сказала Дайе. — К Хаджер-калфе. Люк в каморке — на замок, ключ — мне. Воду в котёл — только от водоноса, через дверцу. Из люка больше ни ведра.

— Слушаю, хатун.

Только теперь она ко мне обернулась.

— А ты к воде без меня ни шагу.

— Мыться мне тоже с тобой?

— И мыться.

Шафран поклонился мне так же низко, как кланялся всегда, и пошёл к калфе.

Вечером Дайе сама принесла тюфяк, бросила его за дверью поперёк порога, ногами к старому крылу, села на него. Анна стояла у меня за спиной и плела косу.

— Как брат придёт, спрошу про твоих, — сказала я. — В тот же день.

— Госпожа и в тот раз так говорила, когда сундуки разбирали. — Пальцы у неё шли по прядям так же быстро, как до моих слов. — А потом сюльтан сам к госпоже приходил.

— Тогда не спросила. Теперь спрошу.

— Хорошо, госпожа. Держите голова ровно.

Прядь она потянула сильнее, чем было нужно. Из-за двери Дайе позвала:

— Дильруба.

Анна завязала косу и ушла, перешагнув через тюфяк сбоку от Дайе. Пока дверь была открыта, я видела Дайе: она сидела лицом к двору, прямая, с чётками в руке, и ложиться не собиралась.

Дверь закрылась. Я задула лампу. Дайе читала. Книги у неё не было, грамоте Дайе не знала. Молитвы она помнила наизусть: аят аль-Курси, короткие суры, потом опять аят. Я лежала в темноте и слушала её до утра. Тюфяк за дверью ни разу не зашуршал.

Под утро она сбилась на середине аята, замолчала и начала его снова, с первого слова.

* * *

В ставень стукнули два раза, со стороны старого крыла. Я не спала: днём выспалась. Дайе прошлую ночь просидела с чётками и теперь храпела за дверью с присвистом. За одиннадцать лет у моего порога я такого ни разу не слышала.

— Фатьма, — сказали в щель.

Это был голос Влада.

Я натянула кафтан на рубашку, сунула ноги в туфли, а покрывало забыла. Дайе я переступила со стороны ног: у головы услышит, сказал он мне тогда, у ступеней. Храп не сбился. Влад без огня повёл меня в сад за старым крылом, к заколоченному колодцу. Он ушёл вниз первым, на дне загорелся факел. Я полезла по скобам сама, на этот огонь, коса болталась за спиной. С последних скоб меня сняли его руки, прямо в лодку.

Вода шла под уклон и несла нас, Влад только правил одним веслом. Я сидела на корме, на свету, он лицом ко мне, против огня, так что лица было не разглядеть. Кирпич над головой тянулся долго и так низко, что я пригибалась.

— Далеко ещё? — спросила я.

— Недалеко. Обратно будет дольше: обратно мне грести против воды.

Потом свод ушёл вверх, стены разошлись, и из чёрной воды встали колонны, ряд за рядом, сколько доставал огонь. Вода стояла у самых их верхов, а выше свод шёл низкими кирпичными чашками[5]. Всё было как во сне. Значит, сон сказал правду. Я сама ушла от Дайе, сама спустилась под землю и сидела теперь здесь на самом деле, в туфлях и кафтане, и улыбалась так, что болели щёки. Из темноты тянуло гнилой стоячей водой.

— Над нами Айя-София[6], — сказал Влад. — Наверху весь город спит и не знает, что у него под полом.

— А ты знаешь.

— Я знаю. Теперь и ты.

— А если закричать?

— Услышит кто-нибудь в своём подвале, перекрестится и решит, что почудилось.

Он положил весло вдоль борта, взял мою левую руку и повернул ладонью к огню. Пальцы у него были тёплые. Тряпицы на ладони уже не было, ладонь была рыжая от пальцев до запястья. Рубец под хной я и сама нашла бы не сразу. Большой палец Влада лёг как раз на него.

— Кто красил?

— Дайе.

— Сама?

— А кому ещё? Сказала, к свадьбе всё равно красить.

Он больше ничего не спросил. Хну он уже рассмотрел, а руку всё держал, и палец так и лежал на рубце.

— Меня всё к свадьбе, — сказала я. Под сводом вышло громче, чем я хотела. — Красят к свадьбе, моют к свадьбе, шесть сундуков простынь и рубашек нашили, каждую нитку на свет

---

[5] Свод из рядов невысоких кирпичных куполов над колоннами, как в Базиликовой цистерне — огромном подземном водохранилище Константинополя.

[6] **Айя-София**— «Святая Премудрость» (греч.), главный храм Константинополя. В день взятия города Мехмед въехал в неё и сделал её мечетью.

смотрят, а за кого мне идти, решил брат, и узнала я об этом от кухни. Гриву чешут, как кобыле перед базаром.

— Ты не то, что тебе сказали.

— А что?

Он отпустил мою руку и взялся за весло. Я ждала ответа. Он повернул лодку туда, где между колоннами желтела вода.

Наверху у кого-то горела лампа, свет от неё шёл через круглую дыру в своде. Лодка вошла в него кормой, где сидела я, а дыра оказалась сбоку, над водой, в шаге от борта. Там из черноты всплыла рыба, серая, с тёмной спиной. Встала под самой водой боком ко мне, у неё ходили жабры. На миг я забыла, что жду ответа.

Лампа наверху качнулась. В дыру свесились голова и плечи, а за ними рука с лампой. Бородатый мужчина в одной рубахе смотрел вниз, прямо на меня. Я сидела на самом свету, с непокрытой головой, коса через плечо. Влада за факелом ему было не разглядеть.

— Панагия, — выдохнул бородатый и быстро, хрипло сказал ещё что-то по-гречески.

Поняла я из всего одно слово, Анна его вечно повторяла: Матерь Божья. Этот человек видел моё лицо.

Влад встал и шагнул ко мне. Лодку качнуло, я схватилась правой рукой за колонну у борта. Свод здесь был так низко, что до дыры Влад дотянулся, не поднимаясь на носки. Он взял грека за волосы, намотал их на кулак и рванул вниз. Тот вывалился из дыры весь, плечами вперёд, и ушёл в воду у самого борта. Лампа упала за ним, зашипела и погасла. Пятна не стало, остался наш факел.

Влад нагнулся над бортом, расставив ноги, и держал. Я смотрела на кулак. Над водой был он один, а из-под него по воде расходились чужие волосы. Под ним билось, вода хлестала о борт и летела мне в лицо и на руки. Пальцы правой руки съезжали по мокрому камню, цеплялись за какие-то круги. Левой я зажала себе рот. Затылок у меня ныл, там, где начинается коса, как в ту ночь, когда меня за неё тащили из воды. Держал Влад спокойно, без натуги, как держат ведро в колодце, пока наберётся. Ладонь, которой я зажимала рот, была ещё тёплая от его пальцев, и я её не отнимала.

Когда под кулаком перестало биться, он подержал ещё. Потом разжал руку, взял тело за ворот рубахи и толкнул от себя, в темноту между колоннами, куда не доставал факел. Оно ушло туда спиной вверх, медленно, и пропало. Влад сел напротив меня, вытер руку о колено и взял вёсла.

* * *

Обратно Влад грёб двумя вёслами. Вода шла навстречу, и за гребок лодка продвигалась на длину руки, не больше. Он заносил вёсла, наваливался всем телом и тянул, дышал ртом, громко. С лопастей лилось обратно в воду. Правый рукав у него был тёмный и мокрый до самого плеча. Лица я не видела: факел горел на носу, у него за спиной.

Меня трясло мелко, всю, хотя брызги на лице давно высохли. Зубы стучали. Я сжала их, они стучали всё равно.

Заговорила я уже в водоводе, под низким кирпичным сводом.

— Зачем?

Грести он не перестал. Отвечал между гребками.

— Он принял тебя за Панагию. Сказал: «Пресвятая, ты пришла к моей воде, не уходи, я разбужу детей». Воду, у которой явилась Богородица, греки считают святой. Услышь он только голос из-под пола, к утру сам списал бы на сон. Богородицу — нет. Её он пошёл бы показывать. К рассвету в его подвале стоял бы весь квартал со свечами, а к вечеру кто-нибудь спустился бы на верёвке посмотреть, откуда она пришла. Внизу лодка и дорога к твоему колодцу. Меня

бы за это казнили. А с тобой сделали бы то, что делают с женщинами, которых нашли ночью с мужчиной. Ты знаешь, что с ними делают.

Я знала. Таких зашивают в мешок и бросают в Босфор, в гареме об этом шептались. Он вынул вёсла из воды, перевёл дух и опустил их снова.

— А так утром родные увидят открытую дыру и решат, что он свалился сам.

Течение тут было сильнее, чем в зале. Лодку сносило на стену, Влад выправлял её одним веслом и опять тянул двумя.

— А девушка, что пропала из бани? Тоже ты?

— Не я.

Ответил он сразу, на том же гребке. Зубы у меня больше не стучали. Я повернулась боком и стала смотреть, как вода бежит вдоль борта туда, откуда мы ушли.

— Дайе встаёт к утренней молитве, — сказала я.

Он стал грести чаще.

У колодца он поставил лодку под самые скобы, сложил вёсла и встал. Я встала тоже, лицом к стене. Он взял меня за пояс, поднял и держал на весу, пока я не ухватилась за скобу и не нашла ногой нижнюю. Ладони у него после вёсел были горячие, я чувствовала их сквозь кафтан и рубашку. Он их не убирал. Я держалась за скобу и выше не лезла.

— Соседи теперь долго будут искать его в воде под тем домом, — сказал он мне в спину. — С огнями, с крючьями, сверху. Через четыре недели Хыдырэллез[7]. Весь город уйдёт за стены встречать лето, женщин из твоего дворца до ночи продержат в саду, и никто не будет считать, кто где. В ночь Хыдырэллеза я буду здесь.

[7] **Хыдырэллез**— весенний праздник цветов и зелени в начале мая, день Хызыра и Ильяса. Горожане уходят за стены на траву, женщины проводят день в садах с цветами в волосах.

Глава 7

В ту ночь я поднялась по скобам и переступила через ноги Дайе. Храп у неё не сбился, и до утренней молитвы я успела лечь.

Потом четыре недели шли одна как другая. В баню Дайе водила меня сама и садилась рядом на тёплый камень, будто я могла уплыть в сток вместе с мыльной водой. Левую руку банщицам она не давала, тёрла сама. Хна за эти бани сошла. На ладони осталась тонкая белая полоса, гладкая, без корки. Брат не приходил ни разу, так что спросить про Аннiных родных было не у кого. Зоя была один раз, с шёлком как сливовая кожура, полдня шепталась с Анной по-гречески и унесла мой ответ на стихи Раду. А я считала дни до Хыдырэллеза.

Утром на Хыдырэллез Зоя пришла опять, с лентами, которые Дайе заказала у неё в тот раз. Из сада было слышно, как калфы гоняют девушек, кто-то уже пел. Анна сидела рядом со мной на подушке и подшивала себе подол к празднику. Дайе торопилась. С рассвета она ходила в праздничном кафтане, на котором ещё не разошлись складки от сундука.

— Красные в косы, — сказала она. — Остальные девушкам. Живее, Зоя, солнце уже над стеной.

Ленты Зоя мерила прямо на мне. Красную протянула через левую ладонь и глянула на полосу.

— О жаровню обожглась, — сказала Дайе, хотя Зоя ни о чём не спрашивала.

— Ай, бедная, — сказала Зоя и повела ленту от локтя до пальцев. Рот у неё при этом не закрывался. — А у наших, хатун, у греков возле Айя-Софии, такое горе. Месяц назад человек пропал. Ночью, у себя же в подвале. У него там дыра к воде, он из неё рыбу ловил. Утром жена спустилась — дыра открыта, ни его, ни лампы.

— Мерь, — сказала Дайе.

— Мерю, хатун. Соседи до сих пор каждый вечер опускают туда огни и крючья, а тела всё нет. Кто говорит, пьяный был, а кто говорит, вода взяла.

— Там у всех в подвале вода, госпожа, — шепнула мне Анна. — Мой дед тоже из подвал рыбу таскал.

Я держала ленту двумя руками и не могла вспомнить, мерили её уже или нет. При Дайе спрашивать было нельзя. Я спросила.

— А вниз кто-нибудь лазил?

— Куда, хатун? — Зоя даже мерить перестала. — Там дна никто не знает. Сверху посветят, и то страшно. Да и кому лезть? Вдова одна с тремя осталась, старшему семь. Никто туда не полезет.

Тот грек хотел разбудить детей и показать им меня. Я сложила ленту пополам, потом ещё раз и ещё, туго, ногтем по каждому сгибу.

— Мнёте, хатун, — сказала Зоя. — Шёлк же.

— Хватит, — сказала Дайе. — Четыре красных, две жёлтых, остальное назад. Платить — к Шафрану. Дильруба, проводи. Потом в сад, девушек одевать.

Зоя увязала остальные ленты в узел и пошла на галерею, Анна за ней. Дайе подождала, пока шаги стихнут, и повернулась ко мне.

— А тебе-то на что знать, лазил туда кто или нет?

* * *

— Хатун, от Повелителя пришли, — сказал Шафран с края ковра. — У ворот ждут.

Дайе сидела под шелковицей, я рядом, колено к колену. Так я сидела с тех пор, как мы вышли в сад. Утром на её вопрос, зачем мне знать про подвал, я ответила, что жалко вдову: одна осталась, трое детей, а мужа так и не достали. Это была правда, только не вся. Спорить Дайе не стала. Она просто больше не отпускала меня ни на шаг, и за долмой мне приходилось тянуться через её колени.

Ковры в тот день лежали под всеми деревьями сада. На них стояли блюда с пловом и долмой в виноградных листьях, у дальней стены над углями крутили ягнёнка, жир капал в огонь, дым тянуло на нас. У каждой девушки в волосах были цветы. Мне Анна воткнула за ухо розу, рядом с красной лентой, а свою белую держала в руке и нюхала.

Дайе встала и отряхнула кафтан.

— Покрывало. Дильруба, за нами.

Ворота на мужскую половину стояли в конце сада. Одну створку приоткрыли ровно на корзину. Снаружи корзины подавали, два привратника-евнуха принимали их и ставили на траву: розы, ирисы, первая черешня, ещё бледная, сушёный инжир. Дальше ворот мужчин не пускали. Во второй створке на уровне лица было окошко с дверцей, и в окошке я увидела Раду. То же гладкое лицо, что на Ипподроме, тот же мягкий рот.

— Мир вам, хатун, — сказал он Дайе и поклонился, насколько пускало окошко. — Повелитель кланяется молочной матери и сестре. Сам прийти не может: с рассвета на холме, где строят новый дворец. Шлёт к празднику цветы и плоды.

— Скажи ему, пусть хоть поест там, на своих камнях, — сказала Дайе. — Ягнёнка ему оставлю. Благодари, Фатьма.

— Благодарю Повелителя.

Раду за окошком поднял голову.

Привратники отнесли корзины подальше от ворот, девушки уже хватали из них черешню горстями. Дайе пошла туда, шагов на десять, и по дороге два раза обернулась на меня.

— У него голос как у муэдзин, госпожа, — шепнула сзади Анна.

— Тише ты.

— Хатун, — сказал Раду в окошко, негромко. — Мне передали: стихи хорошие, только чужие, а в другой раз пусть скажет своё.

— Передали верно.

— Обидно. Я их сам сочинял, две ночи. Меня с детства учили персидскому, и учитель говорил то же самое, только палкой. — Он улыбнулся, мне была видна одна щека. — Своё без стихов у меня выходит хуже, но вот оно. На Ипподроме я стоял от вас на расстоянии руки и видел одну позолоту. А голос узнал сейчас, с одного слова. Розы, кстати, выбирал я. Повелитель сказал: какие-нибудь.

— Видно. Половина мятых.

Я засмеялась под покрывалом. Он тоже.

— Это привратники мнут. А вы какие любите?

Со мной так ещё никто не говорил: будто ему и правда надо знать, какие я люблю розы. А говорить с чужим мужчиной мне было нельзя вовсе, тем более через ворота. Дайе стояла у корзин спиной ко мне. В стихах он назвал меня луной, а луной меня звал только брат.

— Луну вам кто подсказал?

— Никто. У поэтов все женщины луны, хатун. Плохо вышло?

— Повелитель знает, что вы мне пишете?

— Повелитель? Нет. Это я сам, никто не велел. — Он опять улыбнулся. — Знает только мой брат. Он надо мной с самого Ипподрома потешается. Сначала за то, что я теперь «тот, что с шербетом». Потом за записку. А как ваш ответ пришёл, неделю звал меня «чужие стихи».

— С Ипподрома?

— С того же вечера. Он у меня невесёлый, хатун, а тут ему стало весело. Вы на него не сердитесь, он со всеми…

Дайе подошла сзади, я и не слышала. Она заглянула через моё плечо в окошко и ладонью захлопнула дверцу у меня перед лицом. На Ипподроме она стояла у меня за спиной, когда я выбрала того, кто подавал шербет, и видела его не хуже меня.

— На ковёр, — сказала она.

Евнухи разнесли корзины по коврам. Черешню высыпали на медное блюдо, девушки ели её и плевали косточки в траву, кто дальше. Калфа сняла ягнёнка с углей и стала резать прямо на доске. Первый кусок на лепёшке принесли мне, второй Дайе.

* * *

Я встала с ковра, как только Дайе ушла за деревья. Ягнёнка, которого она днём обещала оставить брату, завернули в лепёшки и уложили в корзину. Отдать её у ворот Дайе не доверила никому. Уходя, она сказала Анне: «От госпожи ни на шаг», — и Анна подсела ко мне поближе.

На ветках шелковицы уже висели лампы. Под ними девушки пели все разом и не в лад. Утром Зоя рассказала про грека, который ловил рыбу через дыру у себя в подвале и пропал. Теперь мне надо было сказать Владу, что больше я к нему не приду.

— Озябла, — сказала я Анне. — Схожу к себе. Сиди тут.

Анна поднялась тоже. Свою белую розу она так и держала в руке, только роза за день обвисла.

— Дайе-хатюн велела от вас не отходить.

— А я тебе велю сидеть.

— Сижу, госпожа. — Она опустилась обратно на край ковра. — Только если Дайе спросит, я скажу: госпожа к себе пошла, в комната. Как вы сказали. А больше врать не буду. Я за вас уже врала.

— Ты кому служишь, мне или ей?

— Вам, госпожа. А бьёт меня Дайе-хатюн.

— Я, значит, не бью.

— Вы нет, госпожа.

Спорить было некогда. У меня было столько времени, сколько идти до моей комнаты и обратно. Если Дайе вернётся раньше и заглянет ко мне, меня там не будет.

Дорога к комнате шла мимо старого крыла. До угла я шла по ней не торопясь, как ходят к себе. За углом свернула с дорожки и пошла вдоль стены, без огня. Трава там была по колено и мокрая, подол сразу отяжелел и лип к ногам. Пение за крылом стало тише, но слова я разбирала, а значит, и там меня услышали бы, если крикну.

Две доски из четырёх были сдвинуты с колодца в траву, половина устья стояла открытая. Я опустилась у края на колени. Внизу было почти темно. Далеко, за поворотом водовода, горел огонь: самого факела видно не было, только стена там чуть желтела. Там плеснуло. Где-то в этой же воде, дальше, между колоннами, лежал тот грек. Я убрала руки с мокрого камня и упёрлась ими в колени.

— Я больше не приду, — сказала я вниз.

Снова плеснуло, теперь ближе. Потом я услышала его. Говорил он негромко, но колодец донёс наверх каждое слово.

— Ты обещала.

— Ничего я тебе не обещала. Ты сказал мне в спину, что будешь здесь, а я промолчала и полезла наверх.

— Я спросил, придёшь ли. Ты спросила: куда? А потом сказала: да.

— Не говорила я такого. Ни разу.

— Говорила. В лодке, во сне. В твоём.

Тот сон с лодкой снился мне, но Влад там был настоящий. Он в нём сидел и грёб, а я думала, что сама его себе придумала. Пятно света из круглой дыры в своде и рыбу, которая стоит боком у самой воды, я увидела сначала во сне и только потом наяву. Колонну в круглых глазах, как на павлиньем пере, я гладила из лодки ладонью, а потом той же ладонью хваталась за эти круги, пока он держал грека под водой. В лодке он спросил, зачем я назвала брату того, что с шербетом. А Раду сегодня сказал, что Влад дразнит его этим шербетом с того же вечера. Это Влада грызло, не меня. И вопрос в лодке был его. В ту ночь, в цистерне, я решила, что сон сказал мне правду. Ничего сон не говорил. Всё это показывал мне Влад.

«Да» он взял у меня там, у спящей. И «чтобы не назвать тебя», которое днём я не сказала бы никому. И меня саму, в кисейной рубашке со дна сундука, которую шили на первую ночь с мужем. Я сидела перед ним в ней, он смотрел сколько хотел, а я не прикрывалась. Мне самой этого хотелось, я-то думала, что во сне я одна. Меня затошнило. Я сглотнула и вытерла рот рукавом.

Потом нагнулась над колодцем и плюнула вниз, в темноту.

— Вор, — сказала я. Громче было нельзя, и вышло сквозь зубы. — Сука ты.

Он не ответил. Наверх по скобам он тоже не полез, огонь за поворотом как стоял, так и стоял.

— Я закрою колодец, — сказала я. — Сиди там хоть до утра.

— Закрывай. Мне доски не мешают.

Доски лежали в траве. Я встала, взялась за край первой и потянула. Она набрала воды и была тяжелее, чем я думала, снизу к ней налипла земля. Я пятилась и тащила её рывками, пока она не легла поперёк устья рядом с теми двумя. Вторая застряла в траве, её я дотолкала коленом, а потом надвинула на щель ногой, встала на неё и топталась, пока она не перестала качаться.

Глава 8

— Калфу к воротам! Старшую калфу! — кричит привратник в окошко, на весь сад.

Так здесь не кричат. Значит, в город пришёл гонец из-за Дуная, из войска моего брата, султана Мехмеда. Я жду его с той ночи, когда ты, Влад, напал на лагерь брата: ту ночь я видела во сне твоими глазами, до шатра, который ты вспорол. Чем она кончилась, мне до сих пор не сказал никто.

Под галереей сидят вдовы моего отца и женщины, которых привезли сюда доживать. Я сижу с ними: я теперь тоже вдова. От жары все без покрывал, обмахиваются чем придётся. Служанка обносит всех водой, я беру чашку последней. На крик мы поднимаемся разом, у одной с колен сыплются в пыль очищенные бобы. Старшая калфа идёт к воротам, слушает у окошка, кивает и возвращается почти бегом, придерживая на груди ключи.

— Ночью валахи пришли в лагерь, — начинает она ещё на ходу. — С огнями, с рогами…

— Повелитель жив? — спрашиваю я.

— Жив Повелитель. Жив и цел, хвала Аллаху.

Женщины хвалят Аллаха вразнобой, кто громче, кто шёпотом. Чашка у меня в руке всё ещё полная. Теперь выпиваю всю, до дна. Вода тёплая, отдаёт глиной. Только после этого я сажусь обратно на ковёр.

Калфа начинает сначала, с ночи. Мне нужно про шатры, а она идёт по порядку. Валахи шли стеной, с факелами, трубили в рога, лезли прямо к Повелителю. Да промахнулись: угодили к визирям, верблюдов перебили, всю скотину.

— А у шатров Повелителя стража стояла как положено, — говорит калфа. — Там их и отбили. Перед рассветом валах ушёл.

Верблюдов. Через одного, с распоротым боком, мы с тобой перешагнули. И шатёр, который ты вспорол, был визирский.

Ты промахнулся, Влад, и ушёл живым.

— Чтоб его собаки съели, проклятого валаха, — говорит одна из отцовских вдов и сплёвывает в сторону.

Другая садится рядом и берёт меня за руку. Пальцы у неё сухие и горячие.

— Аллах покарает убийцу твоего мужа, Фатьма-хатун. Вот увидишь, покарает.

— Аминь, — говорю я.

Про верблюда я не говорю ни ей, ни калфе. Руку не отнимаю, пока она сама не отпустит.

Семь лет назад, в мае, после Хыдырэллеза, я три ночи подряд не спала, чтобы ты не пришёл в мой сон.

* * *

Старый дворец. Май 1455

Вечером Дайе принесла мне чашку, накрытую тряпицей, и встала надо мной.

— Пей. Маковая вода, с мёдом. Третью ночь ворочаешься, мне за дверью всё слышно.

Запах я узнала сразу. Когда мне было восемь и у меня болели уши, Дайе поила меня этим с ложки. Я спала тогда до полудня, а потом ходила как пьяная.

— Я не маленькая, Дайе.

— Маленькой ты спала. Пей.

Про Хыдырэллез она так ничего и не спросила. Когда я в ту ночь вернулась в сад, Дайе уже сидела под шелковицей, а Анна сказала ей только то, что обещала: «к себе пошла». Я пришла без тёплого, за которым будто бы ходила, с подолом, мокрым до колен. Дайе сняла с себя накидку и молча укрыла меня. С тех пор она не отпускала меня от себя даже в нужник: стояла за дверью и ждала.

Спать я боялась. Усну — и Влад придёт ко мне в сон. Как он это делает, я не знала. Днём я клевала носом над шитьём и щипала себя за руку повыше локтя, там уже был синяк от моих же пальцев. Ночью лежала с открытыми глазами и слушала Дайе за дверью: вот она бормочет аят аль-Курси от джиннов, вот пьёт на ночь свой шербет прямо из кувшинчика, а потом только сопит.

Сегодня я решила пойти к колодцу сама и сказать ему: пусть не ходит в мои сны. А не перестанет, я скажу брату, кто лазит под его дворцом к его сестре. Посмотрим, повторит ли Влад тогда, что ему доски не мешают.

— Поставь, — сказала я. — Остынет, выпью.

— Не горячая. Сама пальцем пробовала.

— Тогда тем более поставь.

— При мне.

За стеной запели к ночной молитве. Дайе поморщилась: ей ещё надо было успеть омыться. Чашку она поставила на сундук у моей подушки.

— Приду — чтоб пустая была.

— А если нет?

— Волью в рот, как в восемь лет. Не забыла?

Тюфяк Дайе уже лежал поперёк моего порога, у изголовья стоял её кувшинчик. На галерее было пусто, служанки тоже ушли молиться. Крышка звякнула о горло, я прижала её пальцем. Розового шербета на дне оставалось глотка на два. Маковую воду я лила туда тонкой струйкой, чтобы не булькало, а сама слушала лестницу. Вылила до капли и понюхала из горла: пахло только розой.

Пустую чашку я поставила обратно на сундук и легла лицом к стене.

Дайе вошла, заглянула в чашку и потрогала мне лоб сухой ладонью.

— Вот и умница. Спи, бисмиллях[8].

— Сплю.

Чашку она унесла. За дверью села на тюфяк и стала читать аят аль-Курси. Потом брякнула крышка, забулькало. Пила она шумно, в три глотка, и крякнула, как после бани. Мне стало стыдно. Сколько я её помню, она ни разу не дала мне ни ложки, не попробовав сначала сама.

Храпеть она начала не сразу. Я снова прихватывала пальцами синяк на руке, чтобы не уснуть раньше неё. Когда за дверью пошёл храп с присвистом, ровный, без перерывов, я досчитала до ста и встала.

---

[8] **бисмиллях**— «во имя Аллаха» (араб.). Так говорят, начиная любое дело, и так приговаривают над ребёнком, когда укладывают его спать или чем-то поят.

Кафтан я надела прямо на рубашку, туфли несла в руке и обулась, только когда переступила Дайе со стороны ног. С галереи я спустилась во двор, прошла по дорожке мимо старого крыла и за углом свернула вдоль стены.

Доски набухли от сырости. Я стаскивала их по одной, упираясь пятками в землю, и после второй у меня тряслись руки, зато половина устья была открыта.

Внизу было черно и тихо, огня там не горело.

Сверху Влада было не дозваться, разве что криком, а ночью во дворе слышно далеко, прибегут евнухи. Спущусь до последней скобы над самой водой и позову оттуда в водовод: под сводом и тихий голос разносится. Мне было страшно, и я спешила, пока не передумала.

Я легла животом на край, спустила ноги в колодец и нащупала туфлей скобу. Правой рукой взялась за верхнюю, у самого края, и пальцы сразу намокли.

Вес на ногу я перенести не успела. Железо под ладонью дрогнуло, потом ещё раз. Снизу, из темноты, где не было никакого огня, звякнула скоба, за ней другая, ближе.

* * *

Это был Влад, больше некому было лезть ночью из этой дыры без огня. Ноги из колодца я выдернула со страху и отползла от края на коленях. Он поднялся ещё на две скобы и остановился. Над устьем теперь были видны его голова и плечи, лица в темноте не разглядеть.

Говорить можно было только шёпотом, двор ночью слышно далеко. Я и зашептала, сразу, пока не прошла злость:

— Не ходи больше в мой сон. Как ты это делаешь, я не знаю, так скажи как. И перестань. А нет — пойду к брату.

Он не шелохнулся на скобах. Я ему братом грожу, а ему хоть бы что.

— Ты что, каждую ночь там сидишь?

— С Хыдырэллеза.

Три ночи я не спала, а он все три сидел внизу в темноте и ждал, когда я сниму доски.

— Перестанешь?

Обещать он не стал. Сказал другое:

— Пойдём, покажу, откуда я знаю, как это делается. Тогда тебе будет что сказать брату.

— А сейчас нечего?

— Расскажи ему, что тебе снилось.

Про лодку во сне, значит, про кисейную рубашку и про то, как я не прикрывалась. Брату. Я сжала в кулаке мокрую траву.

— К утренней молитве вернёшь меня назад, — сказала я. — Вниз ты первый. И руки мне не подавай, слезу без тебя.

Если он покажет то, за что его казнят, мне будет чем его держать.

Он ушёл вниз, и только когда скобы перестали звякать, на дне загорелся факел. Я слезла по мокрому железу и перешагнула в лодку со скобы, Влад даже не повернулся. Дальше был водовод, зал с колоннами, где в темноте плескала одна вода, потом ступени и ход, всё время вверх. На развилке я спросила, куда ведёт второй.

— К развалинам у моего дома, оттуда лаз ко мне в подвал. Меня стерегут у дверей, в подвал стража не спускается.

— Хороша же у тебя стража.

Ход кончился залом. Впервые под этим городом было сухо: под туфлями пыль, ни лужи, ни капели. У стены топилась печь, пахло гарью и чем-то кислым, от чего щипало в носу.

У ближней колонны сидел на цепи человек и ел хлеб. Худой, бритый, рубаха с чужого плеча. Он жевал и смотрел мне в лицо. Покрывала на мне не было.

— Чего уставился? — сказала я.

Он жевал.

— Он не понимает по-турецки, — сказал Влад.

Я отвернулась и подошла к столу. Книги на нём лежали раскрытые, буквы в них были греческие. По-гречески я знала несколько слов на слух, а прочесть не могла ни одного.

— Это твои книги?

— Каллиста.

— Кто такой Каллист?

— Ты его знаешь. Он держал тебя за ногу.

Щиколотку мне свело холодом, будто туда снова взялись те мягкие пальцы из воды. Я переступила с ноги на ногу.

— Тот, в воде?

— Он был учёным при последнем императоре. Хотел, чтобы император не умер.

— Император умер. Это весь город знает.

— И Каллист умер. Не до конца.

— Как это — не до конца?

Влад не ответил. Он снял с полки флягу, налил в чашку тёмного на палец и присел перед рабом.

— Пей, Инал.

На своё имя Инал перевёл глаза с меня на Влада. Выпил и скривился: горько.

— Сядь к нему, — сказал мне Влад. — Возьми за руку, под большим пальцем, и считай вслух.

— Я тебе не лекарь.

— Ты хотела знать, откуда я знаю. Отсюда.

Можно было уйти. Я села на землю рядом с Иналом и взяла его за запястье. Кожа была тёплая, в хлебных крошках. Жилку я нашла не сразу, Влад ждал, пока найду. Считала я по-турецки, вслух: раз, два, три.

— Что ты ему дал?

— Сон, похожий на смерть.

— И долго он будет спать?

— Это я и хочу знать. Сколько можно пробыть мёртвым и вернуться.

Инал привалился затылком к колонне. Глаза у него закрылись не до конца, между веками белела полоска. Сначала удары шли ровно, потом всё реже. Скоро между ними я успевала сказать число и ещё вдохнуть. Дышал он теперь редко, с хрипом, рубаха на груди почти не поднималась. Губы посерели, изо рта на подбородок вывалился недожёванный хлеб. Под Иналом по пыли поползло тёмное пятно, запахло мочой. На сороковом удар пришёл такой слабый, будто кто-то изнутри тронул мне палец. Я сказала «сорок один» и ждала следующего, а следующего не было.

Мне было страшно. Страшнее, чем тогда в воде, когда меня держали за ногу. При огне лицо у Влада было спокойное, почти скучное. На Инала он не глядел, смотрел на свечу на столе. Метки на ней были процарапаны ножом. Мы ждали, пока огонь не сойдёт до одной из них. У стола в клетке шуршали мыши. Потом Влад смочил тряпку из другой фляги и сунул Иналу под нос. Уксусом ударило и в меня: вот чем тут пахло. Инал не шевельнулся. Влад потянул его руку к себе, я не отпустила, и иглу под ноготь он загнал прямо так, у меня в пальцах. Палец не дёрнулся.

— Инал, — сказал Влад. И ещё раз: — Инал.

Потом встал и принёс со стола книгу с чернильницей. Присел рядом со мной, раскрыл её прямо на земле и записал строку. Над ней были строки покороче, много, в столбик.

— А это кто?

— Мыши.

Рука у Инала была ещё тёплая, я так её и не отпустила.
— Здесь написано, как ты ходишь в мой сон?
Влад положил ладонь на раскрытую книгу.
— Здесь.
Я опустила руку Инала ему на колено и встала.
— Научи меня читать.

Глава 9

Дощечку я держала на коленях и трогала буквы пальцами. В комнате было темно, видеть их я не могла. Дощечка была обмазана глиной, буквы на ней греческие, Влад процарапал их палочкой. Спрятать её было больше негде, только в сундук с рубашками. Я сунула её на самое дно, под зимние. Крышку опускала двумя руками, чтобы не стукнула.

Обратно Влад довёз меня до скоб и ждал, пока я вылезу. Доски на место я положила сама, Дайе храпела, как я её оставила. Дощечку он отдал мне ещё внизу и сказал:

— Буквы выучишь сама, днём. Под каждой я написал по-вашему, как она звучит. Читать будем по книге, здесь, когда придёшь. Написанное стирается ладонью.

Когда приходить, он не сказал. Что значит «стирается», я поняла: если кто полезет в сундук, успеть провести рукой, и ничего нет. Но стирать я не стала, а то учить будет нечего.

Кафтан я сняла и легла, но глаза не закрывала. Окно начало сереть, и с минарета запели к утренней молитве. К ней Дайе вставала всегда, с первых слов: кряхтела, гремела кумганом[9], умывалась и раскатывала коврик тут же на галерее. Теперь она храпела за дверью. Зов кончился, а храп нет. Я вылила ей в кувшинчик всю чашку, до капли, и испугалась, что убила её.

Я вышла за порог и села у её головы. Дайе лежала на боку, лицом к двору, одна рука поверх одеяла. Я взяла её за запястье, под большим пальцем, и стала считать про себя. Жилка билась медленно, но ровно и не пропадала. На пятом десятке я сбилась и начала заново, просто чтобы не отпускать.

Глаза Дайе открыла с трудом, веки слипались. Смотрела она сначала на навес, потом на мою руку у себя на запястье.

— Ты чего? — Голос был сиплый, как с простуды.

— Ты молитву проспала.

Она села в два приёма, сначала на локоть, потом совсем, тяжело, как мешок с мукой. Небо над двором было уже светлое.

— Астагфируллах[10], — сказала Дайе и провела ладонями по лицу.

Потом нашарила у изголовья кувшинчик. Сняла крышку, заглянула внутрь, поднесла горло к носу и понюхала, раз и ещё раз. Закрыла и поставила его себе к колену. Ночью я нюхала из этого же горла: пахло только розой. Я сидела рядом в одной рубашке и ждала, что она скажет. Она стала перевязывать платок.

По галерее застучали туфли. Шафран почти бежал. Он поклонился сначала Дайе, потом мне.

— Хатун, Хаджер-калфа прислала. Нергиз, банщица, ночевала в каморке, чтобы затемно открыть водоносу. Водонос стучал, ему не открыли. Крышка люка поднята, скоба вырвана из дерева, замок висит на ней запертый. Водоноса держат у дверцы. Калфа просит хатун с ключом: замок снять, люк снова запереть.

— Это которая Нергиз? — спросила я. — Рябая?

— Не знаю, госпожа.

Лица её я вспомнить не могла. Банщиц у Хаджер много, и все они для меня были одинаковые, в мокрых передниках. Но куда она делась, я знала. Замок остался запертый, значит, крышку подняли снизу. Искать её будут за стеной, у водоноса, как искали Лале. А она в воде под баней, там же, где Лале. Второй башмак Лале лежал на нижней ступени под люком, я его

---

[9] **кумган**— металлический кувшин с узким горлом, длинным носиком, ручкой и крышкой. Из него поливают воду на руки и лицо, когда омываются перед молитвой.

[10] **Астагфируллах**— «прошу прощения у Аллаха» (араб.). Так говорят, когда спохватились, что сделали не то или пропустили положенное.

нашла и бросила в воду. Того, кто там сидит, зовут Каллист. Этой ночью, пока я была внизу, он вылез наверх. Меня затрясло, я обхватила себя за плечи, чтобы Дайе не заметила.

Дайе встала, держась за косяк. Кувшинчик она понесла к краю галереи, сняла крышку и вылила вниз, во двор, то, что оставалось на дне. Потом плеснула в него из кумгана, приготовленного для омовения, поболтала, выплеснула туда же и поставила кувшинчик на пол у тюфяка вверх дном. Посуду Дайе за собой не мыла никогда, на это есть служанки, а её с ключом ждали в бане. Про кувшинчик она мне не сказала ни слова.

— Шафран. У этой двери, — сказала она. — Госпожа никуда.

— Слушаю, хатун.

Дайе пошла к лестнице и на ходу сунула руку за пояс, где у неё висел ключ.

* * *

— К воротам! Все к воротам, и кухня, и баня! Повелитель приехал сам!

Евнух кричал это с порога, потом побежал дальше по галерее, к следующей двери. Дайе подняла меня с подушки за локоть и сама накинула мне на голову покрывало.

Нергиз искали сутки. Евнухи перерыли каморки служанок и вытряхнули их сундуки. В бане баграми и с фонарями шарили в воде под люком. Об этом мне за обедом рассказала девушка, которая носила блюда. Я так и сидела с куском лепёшки у рта, пока она не дошла до конца: ничего не нашли. В городе обыскали дом водоноса. Там тоже никого. Дайе весь день не отходила от меня ни на шаг и про свой кувшинчик не сказала ни слова.

У ворот собрался весь дом: калфы, кухня, банщицы Хаджер в передниках, девушки из сада. Анна стояла со служанками под шелковицей. Створки закрыли, между ними осталась щель в палец, а окошко открыли. Дайе как старшая встала к окошку, я за её плечом. Она меня не прогнала. Мне надо было увидеть водоноса. И услышать, как брат найдёт правду. Он всегда её находил: спросит два раза о том, что сам уже знает, и человек всё расскажет.

Видно было кусками. Брат сидел шагах в десяти, на ковре, который постелили прямо в пыль. За ним стояли его люди, среди них Раду, он смотрел в землю. Впереди всех держался ага[11] в зелёном кафтане. Водонос стоял перед братом, руки связаны за спиной. Плечи у него и правда были широкие, а один глаз белый, будто молоком залитый. Он был моложе, чем я думала по сплетням.

Первой к окошку позвали Хаджер-калфу. Дайе отступила, мне осталась щель.

— Повелитель, я Нергиз сама ночевать оставила, чтобы затемно открыла, у нас банный день, котёл с вечера не наберёшь, а этот всегда до света стучит, и я утром прихожу…

— Засов, — сказал брат.

— Засов на дверце отодвинут, Повелитель. А я его с вечера сама задвигала, своей рукой, кого хотите спросите, я…

— Довольно.

Потом позвали ту, с крашеными бровями, из бани. Брови она навела и сегодня.

— Сама видела, Повелитель. Шептался он в дверцу. С Лале шептался, а как Лале не стало, так с Нергиз.

— Не шептал, — сказал водонос. — Воду давал.

— Сколько ты носишь воду в мой дом?

— Два года. С того лета, как город взяли.

— Она лжёт?

Водонос молчал долго. Потом сказал:

---

[11] **ага**— у османов начальник: командир войска или стражи, старший над слугами во дворце.

— Нет. Просили они. Узнай, говорят, жива мать или нет, где брат. Я ходил, узнавал. Кто жив, кого продали. Им говорил.

— А вчера утром?

— Стучал, не открыли. Толкнул, дверца подалась. Я не вошёл. Туда нельзя.

Сзади зашептались. Он это сам сказал, за язык его никто не тянул.

Брат заговорил тихо, как всегда. Шёпот у ворот сразу кончился.

— Вода скоб не рвёт. Замок цел, а скоба вырвана: это чтобы дом кричал про джиннов. В прошлый раз у люка оставили один башмак. В воду в одном башмаке не уходят. Засов отодвинут изнутри, а за дверью стоял ты. Куда им идти, они знали от тебя. — Он подождал. — Может, ты их и не трогал. Но через дверь моего дома ты говорил с моими женщинами. Этого довольно.

Я ведь ждала, что он разберётся. Он и разобрался, всё у него сошлось. Только второй башмак Лале лежал внизу, на нижней ступени у самой воды. Я его там нашла и сама бросила в воду. Кроме меня, этого не знал никто. Солнце пекло мне макушку через покрывало, а меня знобило.

— Дайе, — сказал брат. — Ключ от люка у кого?

Дайе вернулась к окошку.

— У меня, Повелитель. С пояса не снимала.

Это была правда. Что в ту ночь она спала как убитая и пропустила утреннюю молитву, Дайе не сказала.

Брат встал.

— Кто знает больше, пусть скажет сейчас.

Голоса он не повысил, но слышали все, до самой шелковицы. Скажу про башмак, и меня спросят, что я делала у люка. Оттуда одна дорога: вода, Влад, мои ночи внизу. За такое женщину зашивают в мешок и бросают в Босфор. И ещё: в праздник я сама через это окошко говорила с чужим мужчиной, с Раду. Он и сейчас стоял за братом.

Я вцепилась в край створки. Дайе, не оборачиваясь, взяла меня за запястье и держала. Молчала кухня, молчала баня, девушки под шелковицей молчали. Брат подождал, сколько читают «Фатиху[12]». Потом кивнул кому-то у себя за спиной.

Вышел человек в одной рубахе, без кафтана, с мечом. Водоноса поставили на колени перед самыми воротами, лицом к нам. В щель мне было видно только белый глаз и плечо. Он говорил что-то по-гречески, скороговоркой, вполголоса. Брат сказал палачу одно слово: «Быстро». Повернулся к аге в зелёном и заговорил с ним.

Звук был короткий и глухой, так на кухне рубят баранью ногу на колоде. Голова упала в пыль и откатилась на шаг. Тело ещё постояло на коленях, потом повалилось вперёд. Из шеи толчками пошла кровь, и пыль под ней сразу побурела. Ноги дёрнулись два раза. Дайе потянула меня от щели. Я упёрлась плечом в створку и смотрела, пока его не взяли за ноги и не поволокли в сторону. За ним по пыли осталась полоса.

— Люк в бане заложить камнем, — сказал брат аге. — Дверцу в стене тоже. Сегодня.

Ко мне он не зашёл. Ему подвели коня, он уехал, за ним уехали его люди.

Снаружи конюх насыпал из мешка песку на кровь, растёр сапогом и насыпал ещё. Потом привратники открыли створку шире, чем на корзину, приняли с той стороны носилки с камнем и понесли через сад к бане, мимо нас, мимо служанок под шелковицей. Камень был тяжёлый, задний всё время перехватывал ручки.

[12] **Фатиха**— «Открывающая» (араб.), первая сура Корана: короткая молитва из семи аятов. Её читают в каждой ежедневной молитве и над умершими, на неё уходит меньше минуты.

* * *

Анна поставила поднос на пол возле меня и стала зажигать лампу. Ставни велели закрыть ещё днём, в комнате было душно. Со стороны бани без конца стучали: там закладывали камнем люк. Дайе ушла туда с ключом смотреть за каменщиками, а Шафран стоял за дверью. Меня он стерёг, служанку выпускал, только если я её отпущу. Анна моего слова не попросила. Села у двери на пятки, руки сложила на переднике.

Под крышкой на подносе остывал рис. Я к нему так и не притронулась.

— Его звали Яни, — сказала Анна.

Я не сразу поняла, о ком она. У ворот водоноса никто по имени не назвал.

— Он моих тоже искал. Мать и братьев. Я через Лале просила, Лале с ним в каморка говорила. Он сказал: пока нигде нет, буду ещё спрашивать. Теперь искать некому.

Мой брат сегодня был у ворот, шагах в десяти от меня. Про её родных я его не спросила. Я о них даже не вспомнила.

Анна скребла пальцем пятно на переднике.

— Я тоже молчала, госпожа. Когда сюльтан спрашивал, кто знает больше.

— А тебе о чём было говорить?

Стук в бане как раз затих. За дверью кашлянул Шафран, совсем близко.

— В тот вечер, когда Лале искали, вы стояли у люка на коленях. Рука мокрая, с неё капало. Дайе-хатюн я сказала, что вы у котла искали. А сама видела. Зачем вы туда руку совали, госпожа? Что там было?

Ответить ей я не могла. Что знает Анна, узнает и Дайе, стоит той спросить: врать за меня Анна больше не будет, сама сказала в праздник. А куда я хожу по ночам и кто меня там ждёт, Дайе знать нельзя.

— Ты служанка, Анна, — сказала я. — Служанка госпожу не допрашивает. Иди к себе.

— Да, госпожа.

Она встала и поклонилась низко, до пола. Так она кланялась Дайе, мне никогда. Потом постучала в дверь. Шафран открыл, выпустил её и закрыл снова.

Я подняла крышку сундука с рубашками. Два дня Дайе от меня почти не отходила, и дощечку я с тех пор не трогала. Буквы мне были нужны, чтобы прочесть ту книгу внизу, где про мои сны записано. Может, там есть и про то, как сделать, чтобы их больше не было. А пока сидишь над буквами, можно не думать о воротах.

Под зимними рубашками дощечки не было. Я вынула их все, одну за другой, прощупала дно и углы. Мне стало страшно, как днём у ворот. В этот сундук, кроме меня, лазила только Дайе: чистую рубашку она мне всегда доставала сама.

Рубашки я затолкала обратно как попало, опустила крышку и открыла дверь.

Шафрана за ней уже не было. Дайе вернулась и сидела на своём тюфяке поперёк порога, рядом горела её лампа. На коленях у неё лежала моя дощечка. Дайе наклонила её к огню и вела ногтем по процарапанной строке, от буквы к букве.

Глава 10

— Кто писал?

Дайе стояла на коленях у моего сундука. Вечером на пороге она мне ни слова не сказала. Сунула дощечку за пазуху и задула лампу. Утром с молитвы она пришла прямо ко мне и закрыла за собой дверь. Рубашки, которые я вчера затолкала в сундук комом, она вынула все на ковёр и теперь складывала по одной у себя на колене, рукав к рукаву, и клала обратно. Платок на висках у неё ещё не просох после омовения. Из сада было слышно, как каменщики закладывают дверцу в стене.

— Сама написала, — сказала я. — Скучно было. Ты же меня никуда не пускаешь.

— Сама. — Дайе разгладила складку ладонью. — Такой дощечки у тебя отродясь не было. Сундуки твои я укладывала, каждую тряпку знаю. Вчера утром полезла тебе за чистой рубашкой, а под зимними дощечка. Так краденое прячут.

Это было ещё до ворот. Когда я стояла у щели за её плечом, дощечка уже лежала у неё за пазухой.

— Отдай.

Дайе приложила руку к груди. Под кафтаном там топорщилось что-то углом.

— Тут полежит.

Я нагнулась и потянулась к её кафтану. Дайе, не выпуская рубашки, шлёпнула меня по пальцам.

— Руки.

— Это моё.

— Твоё всё здесь, я пересчитала. А это чужое.

— Ты её хоть прочла?

— Мне читать не надо. Ты буквы валишь, как пьяный по базару идёт. А тут ровно, строчка к строчке, как у муллы. Мужчина писал. Грамотный. Не из наших.

Я разозлилась так, что загорелось лицо. Всю жизнь она лезла в мои рубашки, теперь добралась и до букв.

— Давно ты в моём белье письма ищешь?

— С той ночи, как ты мне мак в кувшинчик вылила.

Она даже головы не подняла.

— Какой ещё мак?

— Хоть тут не ври. Чашку я тебе сама несла. Вернулась пустая, а спала я. Утром голова как камень, во рту горько, до бани шла, за стенку держалась. Я в жизни молитвы не просыпала. Кувшинчик сама вымыла: Шафран везде нос суёт, пусть нюхает пустой.

— А брату?

— Ни слова. Скажи я ему про мак, он спросил бы, кто налил.

Я села на свои подушки. Два дня она знала про мак и водила меня за локоть.

Дайе уложила рубашку в сундук и взяла с ковра следующую.

— Грек носил? Водонос?

Ответ она подавала мне сама: кивни, и всё. Водоносу вчера отрубили голову, мёртвый не переспросит. Только его и так казнили за чужое, хватит с него и этого.

— Нет.

— Тогда кто?

— Не скажу.

— Скажешь. — Дайе уложила последнюю рубашку и опустила крышку. Встала она, опершись на сундук обеими руками; в коленях хрустнуло. — Брату отнесу. Он спросит, ему и скажешь.

Я видела вчера, что брат делает за слова через дверь. А тут чужой мужчина своей рукой писал мне буквы, чтобы я училась. За такое брат не пощадит ни его, ни меня.

Дайе подошла ко мне. Ворот у меня сбился набок, и она поправила его двумя пальцами, как делала каждое утро с моих семи лет. От пальцев пахло мылом. Вблизи было видно, что брови у неё совсем седые. Я сидела смирно и ждала, пока она кончит.

У ворот брат спросил её при всём доме, у кого ключ от люка. Она ответила: «У меня, Повелитель. С пояса не снимала». А в ту ночь ключ висел на поясе у спящей, снимай кто хочешь. Я сама считала ей жилку на руке, когда она не встала к молитве.

— Неси, — сказала я. — Только скажи ему заодно, как ты в ту ночь спала с этим ключом на поясе.

* * *

— Сиди, — сказала Дайе. — Позову — выйдешь.

Из повозки она вылезла задом, нащупывая ногой подножку, и калфы подхватили её под локти. Узелок она прижимала к груди. В узелке лежал белый платок, который я вышивала в девять лет и бросила на середине. Я не знала, что она его хранила. Платок отдадут служителю гробницы, чтобы святой знал, за кого просят.

Через три дня после того утра с дощечкой Дайе выпросила у брата позволение свозить меня к святому Эйюбу: в доме только и разговоров что о джиннах, пусть хоть святой заступится. Брат позволил и дал охрану. Охрану привёл Раду, брат Влада, тот самый, что подавал мне шербет на Ипподроме и потом писал стихи. Увидев его утром у ворот, Дайе ему слова не сказала. Она только сама задёрнула на мне занавеску и завязала все шнурки: охрану назначил Повелитель, спорить тут не о чем.

За городскую стену ехали по жаре, и всю дорогу я видела одну занавеску. Теперь меня бросили в повозке, как курицу в корзине. Внутри пахло потом Дайе и нагретым войлоком. Три дня я ждала, что Дайе отнесёт брату дощечку, а она повезла меня молиться.

Занавеска с краю отходила на палец. В эту щель был виден двор. Над ним стояли платаны, такие старые, что ствол не обхватили бы и трое, а на ветках в гнёздах сидели аисты. Под ногами у паломников ходили голуби, мальчишка продавал для них зерно из шапки, горсть за медяк. Женщины в покрывалах тянулись к ограде гробницы. У ворот ограды на рогоже сидел безногий старик и пел, сбиваясь. Эйюб[13]был знаменосцем Пророка. Его могилу нашли два года назад, когда брат осаждал город, и теперь к нему ездил всякий, кому было о чём просить.

Раду стоял с конными у внешних ворот. Днём и так близко я видела его впервые: прежде только через решётку на Ипподроме да через окошко в садовых воротах. Он оказался моложе, чем мне казалось по голосу. Над верхней губой пушок, ресницы длинные, как у девушки. Кафтан тёмно-синий, на поясе сабля в серебре. Конь у него был лучше, чем у всех, кого с ним прислали. Такого коня мой брат дарит не всякому.

Он отдал повод своему человеку и подошёл к Шафрану.

— Сходи к хатун, спроси, долго ли ещё. Людям коней поить.

Коней поили у колодца, как только мы встали, я сама видела. Шафран тоже видел. Он посмотрел на повозку, потом на Раду.

— Мне велено при госпоже.

— Я постою. Иди.

[13] **Эйюб**— Абу Айюб аль-Ансари, сподвижник пророка Мухаммеда. Погиб под стенами Константинополя при первой осаде города арабами, и его гробница за городской стеной стала одной из самых почитаемых святынь ислама.

Шафран поклонился и пошёл через двор. Обернулся он один раз, у платанов. Раду встал сбоку от повозки, спиной к колесу. Мне было видно его плечо и пол-лица, а он меня не видел совсем.

— Шербета нет, хатун, — сказал он. — Тут только вода из колодца, и та тёплая.

— Вас и в этот раз Повелитель прислал?

— Сам напросился.

Он сказал это так, будто сознался в краже, и засмеялся.

— А вы о чём будете просить святого?

— Пусть Дайе просит. Она лучше знает, чего мне надо.

Времени у нас было, пока Шафран дойдёт до Дайе и вернётся.

— У ворот вы говорили, брат у вас невесёлый, — сказала я. — Так и не договорили.

— Дайе-хатун вовремя закрыла дверцу.

— Отчего он такой?

— Нас мальчишками держали в Эгригёзе[14]. Это крепость в Анатолии, на скале. Там весело никому не было.

— Вас там и учили палкой? Вы говорили, учитель персидского…

— Там. Мне было лет семь. Я плакал над стихами и путал слова, а он бил по ладоням. — Раду поднял правую руку ладонью вверх, будто я могла на ней что-то разглядеть. — Один раз брат встал и подставил свои. Учитель бил его вместо меня, а он даже не моргнул.

— Добрый брат.

— А вечером сказал: ещё раз заплачешь при них — получишь от меня.

Говорил он это с улыбкой, как хвалят. Ладонь при этом сжал и убрал за спину.

— И вы больше не плакали?

— При них — нет.

— А при нём?

— При нём тем более.

— А теперь? — спросила я. — Он всё ещё зовёт вас «чужие стихи»?

— Перестал.

— Надоело?

— Вы всё про брата спрашиваете, хатун.

Голос у него стал вежливый, ровный, так он говорил с Дайе. Я испугалась, что выдала себя.

— Про вас спрашивать неприлично, — сказала я. — Про брата можно.

Он опять засмеялся, только уже не сразу.

— Перестал в то утро, когда у вас в Старом дворце хватились второй банщицы. Брат пришёл ко мне до света, разбудил и сказал: к сестре Повелителя не подходи. За сестру султана головы рубят.

— Так и сказал: рубят?

— Так и сказал. Он слов не тратит. — Раду пожал плечом. — А я пошёл к Повелителю и попросился вести вашу охрану. Первый раз в жизни его не послушал.

Он повернул голову к ограде. Женщины у ворот гробницы разувались и ставили туфли рядком у порога.

— А вы туда не пойдёте? — спросила я.

— Мне туда нельзя, я неверный. Пока не скажу: нет бога, кроме Аллаха. Я скажу. Давно бы сказал, да брат не пускал. Неверный может просить у Повелителя коня или место при войске. А мне надо просить другое.

---

[14] **Эгригёз**— османская крепость в глухом краю Анатолии, то есть Малой Азии, далеко от Валахии.

А меня Повелитель уже обещал Хамзе-бею, если Анна не врала. Мне хотелось отдёрнуть занавеску: раз всё равно без толку, пусть хоть посмотрит, о ком собрался просить. Я держала край в пальцах и не отдёргивала.

— Хатун, — сказал он тише. — Если брат когда-нибудь окажется рядом с вами, не верьте ему. Он ничего не делает даром.

— Откуда ему оказаться рядом со мной?

— Неоткуда. Он вас в глаза не видел. Это я так, на всякий случай.

Через двор шёл Шафран, быстро, придерживая полу кафтана. Раду отошёл от колеса к своим и взялся за подпругу у ближнего коня, хотя конь был не его.

— Госпожа, — сказал Шафран у занавески. — Хатун зовёт. Чужих вывели.

Он откинул занавеску и подал мне руку. Я опустила на лицо покрывало и вылезла. Раду затягивал подпругу, конь под его рукой переступал, а сам он на меня не смотрел.

До ворот гробницы было шагов сорок. Голуби у нас под ногами не взлетали, отходили вперевалку. Нергиз хватились наутро после той ночи, когда Дайе спала от мака, а Влад сам довёз меня до скоб и ждал, пока я вылезу.

Глава 11

Лампа горела, а у моей постели на полу сидел Влад.

Сидел он спиной к сундукам, подняв колени. Кафтан на нём был тёмный, застёгнутый под горло, это в такую жару. Лампа стояла у него за плечом, так что лица я почти не видела, только скулу и ус. Вокруг огня кружила ночная бабочка, тень от неё бегала по потолку.

Лампу я задула, как только Дайе улеглась на пороге. Зажёг её, конечно, он. И первым делом я подумала о щели под дверью. Щель там в палец, оттуда всегда тянет по полу, а сейчас в неё уходил свет и ложился полосой прямо на тюфяк Дайе, ей на ноги или на лицо, этого я отсюда не видела. Как Влад прошёл мимо неё, я не думала. Я думала, что она сейчас откроет глаза.

— Погаси, — шепнула я.

Он не шевельнулся.

— Свет под дверью. Погаси и уходи. Она проснётся.

— Дайе-хатун не проснётся. Она полдня молилась за тебя у Эйюба.

За дверью Дайе дышала ровно, с присвистом на вдохе, как всегда, когда спит на спине. Я села и подтянула к себе простыню. Рубашка на мне была своя, старая, с растянутым воротом, и под ней я вся взмокла: ночь стояла тёплая, ставни были закрыты, а от лампы в комнате пахло горячим маслом.

Позвать было нельзя: прибежали бы евнухи, его бы казнили, а следом и меня.

Мне хотелось сделать ему больно, а ничего, кроме того, что днём рассказал мне Раду, у меня для этого не было.

— Зачем ты пришёл? — Я говорила так тихо, что едва себя слышала. — Я же тебе сказала: не ходи ко мне больше.

— Ты сказала. Я не обещал.

— А Раду ко мне подходить запретил. Себе, значит, можно?

— Запретил, — сказал Влад. — Он не послушал.

— Не послушал. Он сам попросился в мою охрану.

— Весь двор знает, кто сегодня вёл твою охрану. — Влад помолчал. — И он тебе сказал.

Это был не вопрос. Я зажала рот ладонью, как будто так можно было остановить то, что уже сказано. Раду рассказал мне про запрет днём, у повозки, через занавеску, посмеиваясь, и рядом никого не было. Выдала его я. Раду сейчас спал где-нибудь у себя и ничего не знал.

Он смотрел на мою руку у рта. Это было хуже, чем если бы он пригрозил.

Я опустила руку.

— Чего ты испугался? Что он меня у тебя уведёт?

— Он тебе понравился.

Сказал он это ровно, но я услышала, что ему это не всё равно, и обрадовалась.

— Понравился. Он со мной хотя бы разговаривает.

Тогда я спросила прямо:

— Зачем ты ему велел?

Я ждала, что сейчас он скажет: из-за тебя. Мне очень хотелось это услышать. Он не сказал. Но и не ушёл. Сидел у моей постели, при горящей лампе, в шаге от Дайе.

Меня всё равно отдавали Хамзе-бею, и об этом меня никто не спрашивал. А Влада я выбирала сама.

Я взяла его за ворот и потянула к себе.

Рот у него был сухой и горячий, усы кололи мне губу. Целовал он медленно, будто никакой Дайе за дверью не было. Я первая открыла рот. Он уложил меня на тюфяк одной рукой, а другой задрал рубашку мне до пояса. Ладонь у него была шершавая, в мозолях от поводьев.

Когда она легла мне на живот, я его втянула. Потом она пошла вверх по рёбрам, и я сама выгнулась ей навстречу. Он взял мою грудь всю, сжал, провёл большим пальцем по соску. Сосок встал так, что стало почти больно. Я закусила губу, чтобы не застонать.

Он стянул ворот у меня с плеча и взял сосок в рот. Между ног у меня стало мокро и горячо. Я сжала колени и тут же развела их. Мне было всё равно, видит он это или нет. Другой рукой он гладил меня под рубашкой по пояснице, ниже, по ягодицам, а я держалась за его кафтан и тянула вниз, потому что хотела, чтобы он лёг на меня всем весом и вдавил в тюфяк.

Тогда он поднял голову и положил ладонь мне на горло. Большой палец лёг под одно ухо, остальные под другое. Он не давил. Под его рукой у меня колотилась жила, он это чувствовал и смотрел на меня сверху. Мне хотелось, чтобы он сжал. Я подняла подбородок, чтобы ему было удобнее.

Я проснулась.

Было темно. Лампа не горела. За дверью дышала Дайе, с тем же присвистом на вдохе. Я лежала на спине, между ног было мокро, и я сдвинула колени. Был это Влад или мне просто приснилось, я не знала. Если Влад, то Раду я ему выдала.

Правая рука лежала у меня на горле: четыре пальца с одной стороны, большой с другой, и все сжаты. Они затекли и разгибались плохо. Я разжала их по одному, начиная с мизинца, и положила руку на простыню.

* * *

Иголка гнулась. Я выдернула её из своего шитья вместе с ниткой, нитку откусила, а работу так и бросила на подушке. Теперь я лежала на боку, отогнув край тюфяка от стены, и вела иглой по нижней доске, у самого пола. Стена у меня в комнате была дощатая, крашенная красным, с цветами поверху. Краска снималась плохо. Под ней показывалось светлое дерево, и я давила сильнее, пока не заболела подушечка пальца.

Свет из ставен шёл серый, ещё без солнца. Буквы на дощечке Влад процарапал и под каждой написал по-нашему, как она зовётся. Я учила их пальцами, в темноте, и несколько помнила. Я выбрала омегу[15]. Она похожа на две подковки рядом, концами вверх. Ту букву, с которой по-гречески начиналось моё имя, я брать не стала: её Влад угадал бы сразу.

Ночью я не отличила сон от яви. Влад сидел у постели, говорил, трогал меня, а я ни разу не подумала, что сплю. Мне было стыдно вспоминать, как я сама подняла подбородок. Злилась я больше на себя, чем на него. От злости и царапала глубже. Сны Влад делал из того, что знал сам: воду с колоннами он показал мне во сне раньше, чем я её увидела. А букву под тюфяком я процарапала только сейчас, после той ночи, и знала про неё одна я. В его сне её не будет. Если рука её не найдёт, значит, я сплю.

Я сдула с досок красную пыль, закрыла глаза и провела по царапине пальцем. Две петли, посередине острый уголок, по краю шершавая краска. Потом нашла её ещё раз, уже не думая, куда кладу руку. Рука сама легла в щель между тюфяком и стеной. Во сне она у меня каждую ночь сползает туда, сколько я себя помню, оттого я и выбрала это место. Я опустила тюфяк обратно.

С минарета за стеной закричали на молитву. Дайе на пороге закряхтела, плеснула водой из кумгана. Потом её коврик зашуршал по доскам галереи.

Глотать было больно. Я вспомнила, как ночью разжимала пальцы по одному. Зеркальце мне положили в приданое, оно лежало в ларчике. Я поднесла его к щели в ставне. С одной стороны горла у меня было четыре синих пятна, одно над другим. С другой одно, побольше, под самым ухом.

---

[15] **омега—** последняя буква греческой азбуки, ω.

Я приложила правую руку. Пальцы легли в синяки, все четыре, а большой — в то, что под ухом. Во сне держал он. А наяву держала я сама.

Руку я отдёрнула и прижала коленом к тюфяку. Я боялась, что она опять полезет к горлу без меня.

Сидеть так было нельзя: Дайе помолится и войдёт. Я вытащила из сундука старый вишнёвый платок, в нём я ходила в баню. Обмотала горло два раза. Жара стояла который день, в комнате с ночи было душно, под платком сразу взмокло.

Дайе вошла, вытирая руки о подол, и остановилась.

— Это что?

— Горло застудила.

— В такую жару?

— Ночью из-под двери дуло. Сама же говоришь, от двери тянет.

— Дуло ей. Ставни закрыты, дверь закрыта, а ей дуло. — Она подошла и наклонилась. — Покажи.

— Пройдёт.

— Покажи, говорю. Я тебе это горло маслом мазала, когда ты ещё говорить не умела.

Я взялась за платок, но Дайе была сильнее. Она потянула конец, платок размотался, и она увидела.

Она выпрямилась, подошла к ставню, толкнула его ладонью.

— Кого ищешь? — спросила я.

— Сквозняк твой ищу.

Она подёргала крючок. Крючок сидел крепко. Она вернулась к двери, посмотрела на засов и на щель под ней, вышла на галерею и тут же вошла обратно. Лицо у неё было злое и деловитое, как в бане, когда пропала Лале.

Потом она вернулась ко мне и нагнулась. Под платьем у неё на груди выпер твёрдый угол. Она приложила к моему горлу свою руку. Её пальцы не легли, они были шире и длиннее. Тогда она взяла мою правую руку за пальцы и положила её туда же. Мои легли все, четыре и большой, как ночью.

— Сама, — сказала я. — Во сне.

Я ждала, что она ударит. Шафрана она при мне ударила туфлей по щеке за то, что сводил меня вечером в баню. Дайе не ударила. Она опустилась на колени прямо там, где стояла, хотя с пола вставала тяжело. Мою руку она так и держала у моего горла. Губы у неё шевелились без звука.

— Кто ещё видел? — спросила она шёпотом.

— Никто.

— Анна?

— Анна ещё не приходила.

— Сегодня и не придёт. Скажу, что ты больна. — Она отняла мою руку и положила мне на колено, как кладут чужую вещь. — Бисмиллях. Давно у тебя такое?

— Первый раз.

Крючок на ставне она дёргала со злостью, а тут стояла передо мной на коленях. Что может быть хуже мужчины в комнате сестры султана, я не понимала.

Дайе подняла платок, обернула мне горло два раза и завязала узел сбоку, туго, как завязывала мне пояс.

— А маслом мазать не будешь? — спросила я.

— Из комнаты — никуда.

Она поднялась, держась за сундук, вышла на галерею и крикнула через двор:

— Шафран!

Он прибежал быстро. Она поставила его у моей двери, что-то сказала ему тихо и ушла.

Я встала и вышла на порог. Шафран загородил было дверь плечом.

— Госпожа, хатун велела, чтобы госпожа была у себя.

— Я у себя. Это мой порог.

Он отступил на шаг. С галереи двор был виден весь. Дайе шла через него быстро, придерживая подол. Я думала, она свернёт к бане, к Хаджер-калфе, но она прошла мимо и свернула в сад. Через сад шла одна дорожка, к воротам на мужскую половину.

Моя дощечка так и лежала у неё за пазухой.

Дайе миновала шелковицу и ушла по дорожке за деревья, ни разу не обернувшись.

Глава 12

Дайе показалась из сада на дорожке у шелковицы. Был уже полдень, тень от навеса ушла мне под самые ноги, и доски галереи жгли через туфли. Шла Дайе медленнее, чем уходила, подол больше не придерживала. Через двор она прошла, глядя себе под ноги, а по ступеням поднималась, держась за столбик.

— Шафран, — сказала она. — На кухню. Скажи там, госпоже вечером не готовить. Повелитель зовёт её к себе ужинать.

Шафран убежал, шлёпая туфлями по доскам.

— К себе? — спросила я. — Что ты ему сказала? Дощечку ему отдала?

Дайе сунула руку за пазуху и вытащила дощечку. Глина на ней была тёплая и тусклая, все строчки на месте. Дайе плюнула на неё, прямо в середину, потом ещё раз и растёрла ладонью сверху вниз. Под рукой у неё всё поехало. Греческие буквы расплылись, турецкие подписи под ними тоже. Когда Влад отдавал мне дощечку, он так и сказал: написанное стирается ладонью.

— Не смей! Это моё!

Я вцепилась в край. Дайе повернулась ко мне плечом и провела ещё раз, ребром ладони, с нажимом, как скребут котёл. Потом вытерла руку о подол, и на нём осталась серая полоса.

— На. — Она сунула дощечку мне в руки. — Скучно станет — пиши сама.

Дощечка была мокрая. Глина легла гладко, только поперёк шли полосы от её пальцев. От букв не осталось ничего. Брат этих букв не видел и теперь уже не увидит. Мне стало так легко, что задрожали колени. И так обидно, что я чуть не швырнула дощечку ей под ноги. Буквы были мои. Я учила их пальцами, в темноте, по одной, а она стёрла их у меня на глазах, плевком, как вытирают со стола за ребёнком.

— Что ты ему сказала? — спросила я ещё раз.

— Про горло.

— И всё? Он из-за горла зовёт меня ужинать? Лекаря бы прислал.

— У него и спросишь. Платок не трогай.

— Почему к себе? Он всегда приходил сюда.

Дайе ушла в комнату и загремела крышкой моего сундука. До вечера я от неё больше ничего не добилась. Дощечку я поставила сохнуть к стене, на самое солнце: прятать её теперь было незачем.

После вечерней молитвы Дайе накинула на меня покрывало и закрыла мне лицо по самые глаза. Во дворе уже темнело. Дайе пошла первой, Шафран держался у меня за спиной, на шаг от подола.

Под шелковицей сидели на ковре девушки с шитьём. Когда мы поравнялись с ними, замолчали все разом, будто им рты зашили. Анна поднялась. Ей с утра сказали, что госпожа больна. Она смотрела на мою шею: из-под покрывала торчал край вишнёвого платка. Так она и осталась стоять, с иголкой в пальцах, пока мы не прошли.

У ворот привратник открыл передо мной створку целиком, не на корзину. Во второй створке было окошко с дверцей, через него я в праздник говорила с Раду. Если ночью у меня правда был Влад, то Раду я ему уже выдала. А что Раду со мной говорил, брат мог узнать и без Влада: у Эйюба Раду сам отослал Шафрана от повозки, Шафран оглянулся у платанов, а сегодня Дайе полдня просидела у брата. Испугалась я так, что сбилась с шагу, и Шафран наступил мне на подол.

— Подбери подол, — сказала Дайе, не оборачиваясь. — И ногами не шаркай, не в бане.

— Брат сердится? — спросила я ей в спину.

— Что дадут, то и ешь. А болтай поменьше.

За створкой туфли зашуршали по песку. Этим песком засыпали кровь водоноса Яни.

Дальше была мужская половина. Двор там был больше нашего, весь в камне, посередине бассейн с фонтаном. Вода из чаши лилась с плеском, громко, на весь двор, а у нас в саду с вечера стрекотали одни сверчки. По стенам горели факелы, огни дрожали в воде, пахло дымом и конским потом, и я вертела головой, сколько пускало покрывало. Мужчин я не увидела ни одного. У дверей стояли евнухи в белых тюрбанах, чёрные, как наш Шафран. Каждый кланялся Дайе. Она вела меня через двор так, будто ходила здесь каждый день. Может, и ходила: брата она тоже выкормила.

У покоев брата Дайе остановилась.

— Туфли.

Я скинула туфли. Евнух поставил их у порога носами к двору.

— Хатун останется здесь, — сказал он. — Повелитель велел одну госпожу.

Дайе отошла к стене. Евнух поднял занавес. Из покоев пахнуло жареной бараниной и горячим хлебом, и я шагнула через порог.

* * *

Брат был один. Он полулежал на софе у дальней стены, среди подушек, и читал книгу, раскрытую на колене. Над ним горели две масляные лампы. Тюрбана на нём не было, только шапочка, и кафтан распахнут на груди, по-домашнему. Пока я шла к нему по коврам, он перевернул страницу и только потом поднял голову.

— Садись, ешь, — сказал он. — Хлеб остынет.

У самой софы на низкой подставке стоял круглый медный поднос с ужином: баранина, плов, лепёшки под полотенцем. Рядом на полу кувшин с водой и таз. Больше в покоях не было никого, ни евнуха, ни слуги. Ужин стоял на двоих. Уйти, пока брат не отпустит, мне было нельзя, а спрашивать он мог хоть до утренней молитвы. От этого я испугалась больше, чем у ворот. Я откинула покрывало с лица и села на подушку у подноса. Платок на шее трогать не стала.

Книга у брата была греческая, писанная от руки, бурыми чернилами, без единой турецкой подписи. Колено с ней было прямо у моего лица. В ближней ко мне строке стояла омега. Эту букву я утром царапала иголкой на доске под тюфяком. Я перевела глаза на баранину и больше в книгу не смотрела.

— Про Искандера[16], — сказал брат, хотя я ни о чём не спрашивала. — Грек написал, как он дошёл до Индии.

— И что там, в Индии?

— Слоны. Дай руки.

Он отложил книгу на софу, встал, поднял кувшин и полил мне на руки над тазом. Вода была тёплая. Султан поливал мне, как служанка, а я держала ладони ковшиком и не знала, куда девать глаза. Потом он поставил кувшин и сел рядом со мной на ковёр, колено к колену. От него пахло розовым маслом и чернилами.

Он взялся за узел у меня под ухом. Дайе затянула его так, что брат развязывал ногтями, долго, и я сидела смирно, с мокрыми руками на коленях. Он размотал платок в два оборота. Шею трогать не стал. Только повернул мне голову за подбородок, сначала в одну сторону, потом в другую.

— Синяки, — сказал он. — Дайе говорит, от твоей руки. Больно?

— Глотать больно.

Он намотал платок обратно и завязал узел спереди, под подбородком, слабее, чем Дайе. Пальцы у него после кувшина были мокрые, по шее у меня за ворот побежала капля.

[16] **Искандер**— так на Востоке зовут Александра Македонского, древнего царя, который дошёл с войском до Индии.

— Что ты делаешь во сне руками, Фатьма?

Спросил он не про сон, а про руки. Про руки соврать было труднее. Ответила я быстро, чтобы он не успел спросить ещё что-нибудь:

— Мне водонос снился. Как ему голову рубили. Я, наверное, за шею и схватилась.

Казнь водоноса я правда видела, до конца, в щель между створками.

— Дайе говорит, ты от щели не отходила, — сказал брат. — Она тебя тянула, а ты упиралась плечом.

Больше он про сны не спросил. От облегчения мне захотелось есть, впервые за весь день. Брат оторвал от лепёшки кусок, обмакнул в жир от баранины и положил передо мной на край подноса.

— Ешь. Дайе говорит, ты с утра ни крошки не взяла.

— Дайе тебе и это сказала?

— Дайе мне всё говорит.

Я скатала пальцами комок риса и проглотила. Горло резануло так, что выступили слёзы. Брат подождал, пока я прожую второй.

— У Эйюба ты долго сидела в повозке, — сказал он.

— Долго. Дайе за меня молилась.

— Раду на днях пришёл ко мне и просился вести твою охрану. Он у меня ничего не просит. А тут попросил. — Брат взял с подноса баранью кость и стал её обгладывать. — Ты его на Ипподроме выбрала. Того, что с шербетом. А у гробницы он отослал Шафрана коней поить. Коней к тому времени уже напоили.

Про коней Шафран сказал Дайе, больше некому, а Дайе полдня просидела здесь. Я положила лепёшку обратно на поднос.

— Мы говорили о пустом, — сказала я. — О конях. О стихах. Он стоял спиной к колесу, он меня даже не видел. Это я с ним заговорила, со скуки.

— О пустом говорят при евнухе, Фатьма. Зачем тогда отсылать?

Я сунула в рот баранину и жевала, пока он ждал. Ответа у меня не было, и он это видел. Кость он положил на край подноса.

— Когда мне было двенадцать, — сказал брат, — в Эдирне ко мне ходил один перс. Проповедник. Он говорил, что Бог у нас и у христиан один. Я его любил слушать. Держал при себе, кормил со своего стола, вечерами не отпускал.

Он вытирал пальцы полотенцем, каждый отдельно, от большого до мизинца.

— Муфтий[17]велел его схватить. Перс убежал и спрятался у меня. Я его отдал муфтию.

— Ты?

— Я. Его привязали к столбу на площади, и народ его сжёг. Муфтий подошёл к костру так близко, что опалил себе бороду. Учеников его тоже не стало, ни одного.

— Ты смотрел?

— Смотрел.

Он сказал это так же тихо, как говорил про Искандера. Руки у него были уже чистые, полотенце он сложил вчетверо и положил на колено.

— Сжигают того, кого слушаешь, Фатьма. Не тебя. Раду мне нужен живой.

Не меня. За то, о чём я промолчала у ворот, уже заплатил водонос Яни. Ему отрубили голову: он ходил по городу и узнавал для пленниц, где их родные.

А я обещала Анне спросить брата про её мать и братьев. Мы сидели одни, лучше случая у меня не будет: летом брат уходил в поход. Я струсила и взяла с подноса ещё хлеба, хотя есть уже не могла.

---

[17] **муфтий**— мусульманский законовед: знаток закона веры, который решает, что дозволено, а что нет.

Что мне говорил Раду, брат так и не спросил. Он встал, взял с софы книгу про Искандера и закрыл её, не заложив страницу.

— После похода, Мах, я выдам тебя за Хамзу-бея.

Глава 13

Пальцы шли по доске и ни за что не цеплялись.

Я открыла глаза в темноте. Лежала я на спине, а рука уже ушла под край тюфяка, в щель у стены: во сне она у меня туда сползала всегда. Я провела по нижней доске до самого пола и обратно. Ни петель, ни уголка посередине, ни царапин. Буквы не было.

Я спала, и этот сон делал Влад.

Ноги у меня под простынёй похолодели, хотя в комнате было душно и рубашка прилипла к спине. Влад сидел на сундуке под ставнем. Ставень был закрыт на крючок, свет шёл только из щелей, серыми полосками. Одна лежала у Влада на плече, другая на руках. Руки он сцепил и держал между колен, как держат, когда ждут давно и знают, что ждать ещё долго.

Он смотрел туда, где у меня под тюфяком была рука.

Я вытащила её и почесала локоть, медленно, как чешутся со сна. Глаз он оттуда не отвёл, пока я не сунула руку под простыню.

Четыре ночи назад, когда у меня в комнате горела лампа, я не знала, что сплю, и сама выболтала, что Раду со мной говорил. Если это был Влад, то ему. Теперь знала я, а он не знал, что я знаю. Страшно мне было по-прежнему, только думать страх больше не мешал. Мне стало зло и почти весело, как в детстве, когда таскаешь с блюда то, что тебе не положено, у Дайе за спиной.

— Ты не приходишь, — сказал Влад.

— Мака больше нет. — Я шептала, как шептала бы наяву, будто за дверью и правда спала Дайе. — А без мака она слышит, как я переворачиваюсь.

— Я жду тебя внизу.

— В ту ночь, с лампой. Это был ты?

— Я.

Ответил он сразу, не думая. Раду я всё-таки выдала.

— Что ты сделаешь Раду?

— Ничего. Он мой брат.

Влад мне ещё ни разу не солгал, ни внизу, ни во сне. Я поверила и разозлилась, что поверила так быстро.

— Завтра мой брат выступает в поход. Ты идёшь с ним?

— Заложников в поход не берут.

— И Раду?

— И Раду.

После похода меня отдавали Хамзе-бею, а книгу, где про мои сны, я ещё и не открывала.

— Завтра весь дом пойдёт на стену смотреть, как он выезжает. Дайе первая, Шафран при ней. Днём, как только уйдут, жди меня у скоб. Доски с колодца я сниму сама.

Влад молчал. Полоска света сползла у него с плеча на рукав.

— Ты обещал читать со мной по книге, — сказала я. — Внизу, когда приду. Вот я и приду.

Здесь, во сне, он мог показать мне любую книгу, какую захочет, и написать в ней что угодно, а я бы не отличила. Мне нужна была настоящая, та, что лежала у него внизу.

— Буду, — сказал Влад.

Я отвернулась от него к стене и закрыла глаза. Пусть посидит на моём сундуке и посмотрит мне в спину.

Проснулась я на боку, лицом к доскам, вся мокрая. Было темно. Вечером на мужской половине до ночи играли музыканты брата, флейты было слышно даже через ставень. Теперь там молчали, только на пороге сопела Дайе. Мне стало так легко, что я задышала ртом, как после бани.

Рука сама полезла под тюфяк, к нижней доске. Пальцы наткнулись на омегу и прошли по ней от одной петли до другой, по колючим краям царапин.

* * *

Барабаны застучали за стеной ещё до утренней молитвы и потом уже не смолкали. Под них Дайе и одевалась: новый кафтан, все кольца, какие у неё были, сурьма на веки. Глаза были красные. Сегодня её молочный сын уходил на войну, молилась она за него с ночи.

— Вставай, — сказала она. — Покрывало. Брата провожать.

— У меня горло.

Синяки за эти дни пожелтели, горло давно не болело. Только смотреть, как брат выезжает из ворот на коне, после того как за ужином он отдал меня Хамзе-бею, я не собиралась.

— К брату ужинать горло не болело, — сказала Дайе.

Спорить ей было некогда. Она одёрнула кафтан, ещё раз глянула на мою шею и махнула рукой.

— Сиди. Дильруба, при госпоже. Шафран, со мной.

Шафран понёс за ней подушку, сидеть на камне. Следом ушёл весь дом: калфы, служанки, девчонки с кухни. Хлопнула калитка. В саду стало тихо, остались одни барабаны.

Анна осталась у моего порога. Она с утра нарядилась в праздничное, а теперь только слушала, как бьют за стеной. С того вечера, когда я сказала ей, что служанка госпожу не допрашивает, мы с ней почти не разговаривали.

— Анна. Если кто придёт, скажешь: госпожа спит.

Она повернулась не сразу.

— Я на Хыдырэллез сказала, госпожа. Больше за вас врать не буду.

Прежде я бы ей опять пообещала: брата спрошу, про твоих узнаю. Обещала я это уже не раз.

— Про твоих я брата не спрошу, — сказала я. — Яни, который их искал, казнили. А брат сегодня уходит.

Так стыдно мне было только маленькой, когда Дайе за ухо вытащила меня из комнаты отцовской наложницы, где я примеряла её серьги.

Анна долго молчала. Потом сказала:

— Тогда платите, госпожа.

Я сняла с руки тяжёлый золотой браслет и отдала ей. Анна взвесила его на ладони, как торговка на рынке, и сунула за пазуху.

— Мать выкуплю, — сказала она. — Если найду, кому её продали. Пленных за деньги отдают.

Каждый вечер она плела мне косу и ни разу не сказала, что копит на мать, а я ни разу не спросила, на что служанке деньги. Теперь мы с ней торговались. Торговалась она лучше меня.

— Кто придёт с кухня, скажу: госпожа спит.

Я спустилась с галереи. Анна за моей спиной тихо прикрыла дверь, будто в комнате кто-то спал.

В саду не было никого. Барабаны сюда доходили глуше, между ними тянули флейты. За стеной шумел народ, как вода на мельнице. Дайе, наверно, уже стояла на стене, за решёткой, и вытирала глаза рукавом. Я шла по дорожке и не пряталась.

За углом старого крыла трава была мне по колено и кололась сквозь шаровары. Доски лежали на месте. Я обещала снять их сама и сняла две из четырёх. Первую стащила в траву, упираясь пятками, снизу она была сырая и холодная. Вторую тянула, пока не заломило спину.

Я встала у края на колени. Днём колодец было видно до самого дна. Мокрая кладка, скобы, внизу вода, а на воде лодка. В лодке сидел Влад и смотрел вверх. Факел лежал у него на коленях, незажжённый.

Он пришёл. Что пообещал ночью во сне, то и сделал наяву. Я чуть не засмеялась вслух, а у колодца можно было только шёпотом.

— Я спускаюсь, — шепнула я.

— Слезай, — так же шёпотом ответил он снизу.

Верхние скобы нагрело солнце, нижние были холодные и скользкие. С последней я перешагнула в лодку. Влад держал её веслом у стены, рук не подавал, как я ему и велела. Книги в лодке не было, я сразу посмотрела.

В водоводе стало темно, хоть глаза выколи, и Влад зажёг факел.

Потом стены разошлись, начались колонны. Теперь между ними на чёрной воде лежали пятна света, круглые, где одно, где два рядом. Свет падал сверху, из дыр в своде: над каждым пятном стоял чей-то дом с колодцем внизу. Через такую дыру Влад при мне стащил вниз грека.

К пятнам поднималась рыба, к самому свету, и стояла там, шевеля жабрами. В одном рыбы было больше, чем в других. Они толклись у чего-то бледного под водой, тыкались в него и отскакивали. Я вцепилась в борт. Мне сразу вспомнились девушки, которые пропали из бани.

Влад перехватил весло, подцепил это снизу и повернул к свету.

Из воды показалась девичья рука по локоть. Она разбухла и побелела, рыбы отщипывали от пальцев. На запястье, в самом свету, был тонкий медный браслет.

* * *

Рука лежала на лопасти весла, в самом свету. Рыбы, которые отскочили, когда Влад её поднял, уже подходили обратно и тыкались в то, что осталось от пальцев. Дальше локтя ничего не было. Ножом так не режут: из мяса висели белые жилы, торчал край кости. Так бывает у варёной курицы, когда крыло отрывают руками.

Влад перехватил весло одной рукой, а другой, не торопясь, взял мёртвую за запястье и стянул браслет. На разбухшей руке браслет сидел туго и сошёл вместе с кожей. Влад стряхнул с него воду и положил себе на колено.

Тут весло дёрнуло вниз. Влад его удержал, но на лопасти уже ничего не было. Вода в светлом пятне закипела, свет разбился на куски, лодку качнуло так, что я схватилась за оба борта. Влад сказал в темноту два слова по-гречески, негромко, как говорят собаке. Вода улеглась. Пятно снова стало круглым, в нём опять стояла рыба.

Меня вырвало за борт. С утра я ничего не ела, вышла одна горькая желтизна. Я вытерла рот рукавом. Он пах розовой водой из моего сундука, и я держала его у лица, пока не перестало мутить.

— Чья? — спросила я в рукав.

— Из бани. Вторая.

Нергиз. Когда она пропала, я спросила Шафрана, рябая ли она. Шафран не знал. Лица её я так и не вспомнила. Руку запомнила.

Я опустила рукав и села прямо. Дальше я спрашивала ровно, как Дайе допрашивает прачку, куда делась простыня.

— Про Лале ты мне говорил: не я.

— Не я. — Влад кивнул туда, где только что кипела вода. — Он. Я его кормлю.

Он — это Каллист, тот, в воде, что держал меня за ногу. Весло Влад положил вдоль борта. Медный браслет у него на колене поймал свет из дыры и блестел.

— Чем?

— Людьми. Инала ты видела.

Инал, раб из мастерской. Я держала его за запястье, пока не стало нечего считать. Теперь я сцепила пальцы на коленях, чтобы не тряслись.

— И Нергиз ты ему отдал?

— Когда я не кормлю, он берёт сам. В ту ночь я был с тобой.

В ту ночь я сидела в мастерской на земле. Влад сказал «Не я», и мне хватило. Яни потом отрубили голову у ворот.

Страшно мне больше не было, мутить перестало. Было пусто. И я спросила о том, за чем пришла.

— А книга? Ты обещал читать со мной по книге.

— Книга в мастерской. — Влад взял браслет с колена. — Всё, что я знаю, мне сказал Каллист. Про твои сны тоже. А Каллист даром ничего не говорит.

Раду говорил мне то же самое про Влада: ничего не делает даром. Будем ли мы читать, Влад так и не ответил.

Он протянул мне браслет на ладони.

— Возьми. Вернётся твой брат — покажи ему. Скажи, где взяла.

Брата он не боялся и раньше: я им грозилась у колодца, а он и на скобах не шелохнулся. Я сунула руки под мышки. Влад подержал ладонь ещё немного и повернул её. Браслет булькнул рядом с пятном и ушёл.

— Вези меня назад, — сказала я.

Обратно он грёб двумя вёслами, против воды. В водоводе лодку тянуло к стене, Влад выправлял её и опять наваливался. Дышал он ртом, громко. Руки я так и держала под мышками, хотя давно не мёрзла, и всю дорогу смотрела на его колени, тёмные от воды с вёсел, только бы не в лицо. Сюда мы плыли быстрее.

В колодце было светло от неба. Влад сложил одно весло, вторым упёрся в кладку.

— Больше я тебя здесь ждать не буду, — сказал он.

У меня защипало в носу от обиды. Да, я сама сколько раз гнала его от себя. Но кто он такой, чтобы мне отказывать? Голос я удержала ровным.

— А в сон придёшь?

Влад толкнул лодку веслом, чтобы подвести её под скобы. Ждать, пока подведёт, я не стала. Шагнула с борта на нижнюю скобу, и нога сразу съехала: железо было холодное, в слизи. Я успела схватиться за скобу выше и повисла на руках. Ноги ушли в воду по колено, шаровары облепило холодом. Нащупала опору коленом, потом ступнёй и полезла. Ржавчина с нижних скоб мазалась мне на ладони и на мокрую ткань. Вниз я не смотрела.

Наверху солнце било в глаза. Я затащила обе доски обратно на колодец, сначала одну, потом другую, руки при этом тряслись. В саду было пусто, за стеной всё били барабаны. Я оглянулась: по дорожке за мной тянулись мокрые следы. Пекло так, что, пока я смотрела, они высохли.

Я открыла дверь. Анна сидела у самого порога, подобрав праздничный подол. Увидела мои шаровары, мокрые до колен и в рыжих пятнах, и встала. Из сундука она достала сухие.

Мокрый шнур на поясе затянулся узлом. Анна встала на колени и развязала его зубами, стянула с меня мокрое до щиколоток.

— Ногу, госпожа.

Я переступила. Шаровары она скатала в тугой свёрток, ржавчиной внутрь, сунула под мышку и ушла по галерее.

Глава 14

Анна вернулась по галерее раньше, чем остальные спустились со стены: там ещё били барабаны. Свёртка у неё под мышкой не было.

— Куда ты дела шаровары?

— Дайе-хатюн скоро придёт, госпожа. — Анна прикрыла за собой дверь. — Рубашку снимайте.

Я сидела на сундуке как была: в сухих шароварах, в рубашке, рукав которой пах рвотой, с рыжими от ржавчины ладонями.

— Анна. Где они?

— Сейчас вода принесу.

Тут до меня дошло. Шаровары она унесла при мне, а я её не остановила. Теперь они лежали где-то у неё, а где, знала только она.

Воду Анна принесла в тазу. К тому времени, как барабаны смолкли, ладони у меня были чистые, а на мне была другая рубашка, из сундука. Рыжую воду Анна выплеснула с галереи в траву, а рубашку скатала и унесла.

Потом захлопала калитка, по саду пошли голоса, и у меня свело живот. Дайе пришла последней, тёрла на ходу поясницу. Кольца на ней были все, сурьма от слёз растеклась к вискам.

— Проводили, — сказала она с порога. — Пыль до сих пор на зубах. Шафран, воды. Ноги не мои. Дильруба! Госпожа как?

Анна поклонилась ей и сунула руку за пазуху, туда, где лежал мой браслет.

— Спала, Дайе-хатюн. Как вы ушли, так и спала.

— Хоть одна в доме выспалась.

Дайе села на порог и стала стаскивать туфли. На меня она даже не взглянула. Живот у меня отпустило, я чуть не засмеялась.

Смеяться мне скоро расхотелось. Про Дайе мы не договаривались. А соврала ей Анна ровно, при мне, и платы за это не попросила. Мне захотелось её ударить.

Ужин принесла девчонка с кухни: лепёшки, рис, жареная рыба. Я с утра ничего не ела. Съела весь рис и две лепёшки, а блюдо с рыбой отодвинула к Дайе.

— Горло? — спросила Дайе.

— Горло.

Дайе забрала рыбу себе и обсосала каждую кость.

Потом она ушла за тюфяком, а Анна села заплетать мне на ночь косу и плела, как всегда, туго.

— Зачем ты ей сказала, что я спала? — спросила я шёпотом. — Я тебе за кухню платила.

— Вы спали, госпожа.

Я так и не поняла, смеётся она надо мной или теперь будет говорить так всем, и мне тоже. Анна завязала косу шнурком и ушла к служанкам. Где у служанок её угол и где её узел с вещами, я не знала. Мне ни разу не пришло в голову спросить.

Тюфяк Дайе бросила поперёк

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.